

– Как и Горбачёва, два сапога – пара. Рабочие вообще начальство не любят, считают, что оно создано вредить им, не дать много заработать. Главбух управления во всеуслышание заявляет: не допущу, чтобы простой работяга получал больше, чем я. Рабочий и в дождь, и в зной, и в мороз работает, а она в кабинете сидит, бумажки подписывает. Много дельного, правильного мужики говорят, только кто их слушает?

XII

В поисковый отряд «Память героев» Петя попал благодаря Валиному брату Павлу. Когда отряд только формировался, в него зазывали, уговаривали, а года через три-четыре от просящихся в отряд не стало отбоя, людей в него отбирали. Прошёл отбор и Петя, пробежал километр на время, двадцать раз отжался, пятнадцать подтянулся, бросил учебную гранату на тридцать метров и после собеседования был зачислен. Валя говорила ему:

– Я скажу Паше, он тебя и так возьмёт.

Говорил и Паша:

– Петруха, приходи, – но Петя не хотел поблажек и блата, сдал положенные нормативы, как и все.

Павел, отслуживший в армии, (он был танкистом, механиком-водителем) высокий жилистый парень, каждое лето отправлялся в экспедицию. В течение года он охотно брался за сверхурочную работу, денег не брал, а отработанные дни плюсовал к отпуску за свой счёт. Тиховодская область была ближним тылом Ленинградской области, немцы затронули только северо-западный её угол, но работы поисковикам хватало. Каждое лето отряд находил не погребённые останки советских воинов. Осенью и зимой работа продолжалась: поездки в Подольск, работа в архиве министерства обороны, переписка с родственниками павших. Венцом деятельности отряда были захоронения красноармейцев, погибших в войну. Их насчитывалось более пятидесяти. В Тиховодске открыли музей отря-



да с проржавевшими винтовочными стволами в экспозиции, обрывками пулемётных лент, обломками штыков, сапёрных лопаток, солдатских алюминиевых ложек, медальонов. Гордостью экспозиции был пулемёт «Максим», отреставрированный, покрашенный зелёной краской, такой весь новенький да красивый, словно экспонат с оружейной выставки. Пулемёт нашли на дне оврага, изломанный, изглоданный ржавчиной, но знакомый Павла токарь с завода меньше чем за полгода привёл его в боевую готовность, заправляя ленту и «огонь!». Но современная оружейная промышленность не производила необходимых патронов.

В походе отряд жил по распорядку воинской части. Утром побудка, подъём флага, строевая подготовка, маршировка с пением песен. Только что утреннего осмотра не было с проверкой подшитых подворотничков и чищенных сапог и блях. Без разрешения командира покидать расположение отряда запрещалось.

Бойцы отряда выступали в школах, техникумах, институтах, рассказывали о своей работе, превращая выступления в лекции по истории Великой Отечественной войны.

Глава администрации области поддерживал отряд деньгами, подарил микроавтобус. Директор пригородного совхоза помогал продуктами.

Отряд был зарегистрирован в отделе юстиции, получил право иметь своё знамя. По общему согласию образцом замени взяли Красное знамя Победы со звездой. На его вручение пригласили ветеранов войны, главу области.

За чаем глава области ещё благодарил поисковиков за благодарное дело, которым они занимаются.

– Появление таких отрядов, – говорил он, – стало возможным в связи с изменившимися общественными условиями. Равно это относится к появлению различных клубов, занимающихся историческим фехтованием, изготовлением старинного оружия, реконструкцией сражений. Сейчас стало больше свободы, возможности проявить себя. Сняты идеологические путы. Но свободой нужно пользоваться разумно, чтобы от неё государству и народу была польза, а не вред.



Какой от свободы может быть вред, поисковикам, большинство из которых были студенты и школьники старших классов, было неизвестно. Ведь свобода в их понимании – это только польза, только благо, но спросить об этом главу никто не решился.

– Поясните мне, Павел Вячеславович, – обратился глава к командиру отряда. – Почему, по вашему мнению, столько много воинов осталось не погребёнными. Я понимаю, что сразу после войны было не до этого, и в последующие годы, но ведь не несколько десятилетий.

– Владислав Михайлович, я по профессии учитель математики, поэтому буду рассуждать сжато, на уровне формул.

Глава области, бывший директор совхоза, в юности лыжник и волейболист, в школе с математикой, мягко выражаясь, не дружил, по – школьному посмотрел на Павла и кивнул головой...

Павел объяснил, что на войне известны три вида боя: наступление, отступление, оборона. Когда наши войска наступают или обороняются, территория боя, остаётся за нами. Есть все условия для погребения павших. При отступлении же, и отступлении поспешном, как в начальный период войны, тела павших остаются на территории занятой противником. Обязанность по погребению ложится на войска противника. Немцам хватало забот по погребению своих солдат, поэтому они на наших обращали внимание постольку-поскольку. Надо сказать, что не погребёнными остаются тела преимущественно за сорок первый – сорок второй годы. Затем мы стали наступать, за наступавшими войсками шли похоронные команды, подбиравшие мёртвых и тяжело раненых. Большое значение имеет географический фактор. Где происходили боевые действия, на равнине или в лесу. На равнине мёртвые тела заметны и, их подобрать легко. В лесу они не так заметны, их надо искать. Большинство не погребённых тел обнаруживаются именно в лесной местности.

– Спасибо за разъяснение, а я грешил только на нерасторопность властей.



– Ну да у нас привыкли всё валить на Советскую власть. А после Бородинского сражения, наша армия отступила, тоже ведь всех убитых не погребли, они лежали до того момента, когда русские войска вернулись под Бородино, преследуя Наполеона. Однако упреков ни Александру Первому, ни Наполеону не последовало.

– Я удивляюсь, проблема с не похороненными воинам была проблемой многих европейских стран, но ни в одной стране никому в голову не пришло ставить это на вид своей власти, и тем более упрекать её в злонамеренности.

Всё было готово к выезду в экспедицию, «Буханка» загружена продовольствием, снаряжением (палатки, спальные мешки т.п.), назначен день выезда.

В 9 утра машина стояла у двухэтажного деревянного здания на старом базаре. В «буханку» втиснулось 12 человек (ещё десять добираются самостоятельно), и перегруженный бронепоезд «За Родину» выехал на проспект Победы. Ехать нужно 7 часов. Это без остановок, а всего набиралось 8 часов, полноценный рабочий день.

Только выехали за город, Павел, сидевший впереди, повернулся ко всем и скомандовал:

– Рядовой Ненашев, запевай,

Петя откашлялся и начал:

На границе тучи ходят хмуро...

– Край суровый тишиной объят, – подхватил экипаж бронепоезда.

Одна из любимых строевых песен отряда отвечала главной задаче нынешней летней экспедиции: розыску танка.

Путешествуя по окрестным деревням, собирая воспоминания старожиллов о военной поре, в одной из деревень Павел услышал историю, которая ошеломила его.

В одной из деревень девяностолетняя старуха рассказала ему, что зимой сорок второго года на болоте провалился



и затонул танк. После войны собирались его поднять, да так и не собрались. По опыту зная, что памяти старух доверять не стоит, им может втемяшиться в голову, что угодно, Павел проверил её рассказ и услышал его повторение в пяти деревнях. Старуха не выдумывала, но места все называли разные. Сколько рассказчиков, столько и мест. Он поверил первой старухе, во – первых в сильнейшую засуху она видела торчавший из воды пушечный ствол. И, во-вторых, у того болота её чуть не ужала змея. Это была живая деталь, такое не выдумаешь.

Уставшие и голодные на место приехали в седьмом часу вечера. Летом вечер понятие условное, светло ещё, как днём. Принялись разбивать палатки, на костре заварили котёл каши, в него бухнули две банки тушёнки. После отбоя пили чай и пели песни. Запевалой был Петя. Первый вечер прошёл в хлопотах по устройству. Небо усеяли звёзды. Все завалились спать и спали как убитые.

Поутру всех разбудил звук топора. Как и положено начальнику похода, Павел проснулся первым и принялся сооружать плот. Срубив несколько ёлок, он обрубил сучья, отсёк вершины, сплотил брёвна наколоченными сверху досками, к торцам привязал камеры от колёс машины, вытесал из доски примитивное весло и с Петей поплыл по указанному старухой озерцу, вернее большому пруду. Надев наушники, Павел скользил ободком миноискателем над водой. В наушниках было тихо. Миноискатель дал работник райвоенкомата, майор, присоединившийся к ним, когда они проезжали райцентр. Майор был представителем власти при отряде и одновременно контролёром, если поисковики вдруг найдут исправное огнестрельное оружие.

– Ну-ко, Пётр, – сказал Павел, – правь к середине.

Среди шорохов в наушниках прорезался резкий сигнал, другой. Сигнал не прекращался, верещал так непрерывно и громко, что его слышали даже стоявшие на берегу участники похода.

– Ура! – закричали все. Кто-то подбросил в воздух бейсболку, порыв ветра бросил её в озеро, бейсболку полезли доставать.



Сигнал убедительно говорил о том, что под плотом находится металлический предмет огромной массы.

Петя в восторге от находки сорвал с себя рубаху, бултыхнулся в воду, проплыл метров десять, скрылся под водой и вдруг встал в воде по пояс. Размахивая руками, он балансировал на чём-то и кричал:

– Я стою на стволе, это танк. Ещё раз, товарищи, ура!

– Слазь сейчас же, – рявкнул с берега шутник-майор, – погнёшь ствол.

Петя свалился в воду, но в воде мгновенно понял, что это шутка.

Вынырнув, он увидел хохочущего Павла.

– Ой, умора, ха-ха-ха, – положив миноискатель на плот, хохотал Павел. – Да на него десять таких, как ты, встанут, он не погнётся.

Петя, что было сил, плыл к берегу, вода в озерце была ледяная. Со дна озерца били ключи, озерцо не замерзало в самые лютые морозы, середину его затягивал тонкий ледок, на который наметало снега. Об этой особенности лесного озерца не знал экипаж танка зимой 42-го года. Внезапно боевая машина ухнула под воду, танкисты едва успели выбраться наружу.

Удача отряда привалила большая. Найти самолёт, танк времён войны, практически в нетронутом виде, это мечта многих поисковиков. Это же вещественная память народа. Танки показывают в кино, а здесь не киношный, всамделишный, наш танк, ведь это мы его нашли. Вечером у костра только и разговоров было, что о танках, танковых сражениях Великой Отечественной войны, о том, что у Советского Союза танков было не меньше, чем у Германии, но сначала мы не умели танками воевать, давать отпор танковым клиньям вермахта.

– Воевать учатся не на ученьях, а непосредственно на войне, – поучал всех Петя. – Величие Красной армии в том и состоит, что она научилась воевать, истекая кровью, отражая удары, которые для любого другого государства оказались бы смертельными. В первую мировую войну Германия в позиционном противостоянии с Францией потеряла около миллиона



солдат и не смогла добиться успеха, а в 1940 году разгромила Францию за два с половиной месяца. Участь Франции ожидала и Советский Союз. Военные эксперты давали Красной армии шесть недель срока на сопротивление, а потом парад немцев в Москве, как парад в Варшаве, в Париже. Они просчитались, потому что во главе нашего государства стоял не Петен, не последыши Пилсудского, а...

– Знаем, кто, не повторяй, – прервал Петю Никита, спорщик и критикан. Споры с ним едва не перерастали в драку. – Знаем, кто перед войной пострелял своих генералов и остался ни с чем.

Петя не хотел спорить, но смолчать не мог.

– Это Жуков, Рокоссовский, Конев, Василевский, Черняховский – ни с чем? Это Горбатов, Белов, Берзарин, Кузнецов – ни с чем?

– Молчим, – пресёк загоравшийся спор Павел. – Факт один, над Берлином взвился красный флаг, а не над Кремлём со свастикой.

– Но какой ценой это достигнуто, – не уступал Никита.

– Это пустые разговоры, – резко отозвался Павел. – Можно подумать: Победа продавалась в магазине. Можно сходить и купить подешевле. Это ненужные и вредные разговоры. Всякие дискуссии прекращаю, у нас в отряде не республика, не демократия, а элементарный тоталитаризм. Иначе говорить будем много, а танк останется в озере. Кто недоволен, завтра на автобус, денег на билет я дам. Впрочем, за каждым оставляю право обжаловать мой образ правления. У нас свобода. Но борцы за свободу мнений у нас лишние.

Танк был рядом, и его как бы не было. Его никто не видел. Способ, чтоб его увидеть был – вытащить его из озера.

Нужен тягач. Его в отряде не было. Надо просить в совхозе. Павел взял с собой Петю.

День был солнечный, знойный. Просёлок, каким они шли, был настолько прокалён лучами солнца, настолько сух, сучен, придорожная лебеда была покрыта таким слоем пыли, что казалась мёртвой. Мёртвым, неживым виделось и всё во-



круг, пыльные и неподвижные ветки кустов, уныло свисавшие над канавой. Не заметно никакой живности, ни прошмыгнёт кошка, ни пробежит лениво с высунутым языком собака, даже вездесущие курицы куда-то запропастились. На дворе, перед гаражом, на котором громоздилась разнообразная сельхозтехника, три или четыре трактора «Беларусь», ржавые бороны, сеялки, допотопные конные грабли, разбросанные прямо на земле шестерёнки, болты и гайки. Картина развала и запустения была так правдиво – оскорбительна, что, казалось, это не земной пейзаж, а какой-то сюрреалистический, словно живут тут не люди, а человекообразные инопланетяне. Немного поодаль виднелось здание недостроенной котельной, все стёкла были выбиты, рамы выломаны, посреди котельной торчит с множеством труб котёл. Петя подумал, что если бы художник задумал написать картину «Тоска», то лучшего пейзажа было бы не подобрать.

Павел шёл, не глядя на окружающий его пейзаж, он к нему привык. Он шёл и думал о том, где найти подходящий трос. Те тросы, что употреблялись в совхозе, не годились, они при солидном натяжении лопнут, как нитка. А натяжение будет колоссальным: сам танк 26 тонн, к тому же заполнен водой, это ещё тонна- полторы, да больше сорока лет под водой. Танк основательно врос в ил. Сюда бы штатный танковый трос, который раза в четыре толще обычного троса, но где его взять?

На крыльце у здания совхозной конторы на скамейке всё же сидели несколько человек, доказывающих, что тут живут люди, а не инопланетяне.

Павел покурил с ними, поговорил о тракторе, они отослали его к начальнику передвижной механизированной колонны (ПМК), давнему знакомому Павла.

– Как дела, Иваныч, – входя в кабинет, спросил Павел для того, чтоб с чего-то начать разговор, хотя и так было видно, что дела, по старинной поговорке как у вологодского губернатора.

– Сидим, ждём у моря погоды, заказов нет, – обменявшись с Павлом и Петей рукопожатиями, отвечал начальник, полный,



коренастый мужчина лет сорока, – И самое страшное: люди работать не хотят. Раньше мужик – труженик ценился, им гордились и сам он горд был, а сейчас у всех одна забота, как ни попало деньгу зашибить, украсть да продать, а если работа попалась, так надо рядом с палкой стоять, норовят сделать как – нибудь, о качестве никакой думки. Раньше печники были или плотниками, своим именем, честью трудовой дорожили. Был у нас печник Семериков, царство ему Небесное, так он за свою работу отвечал. Спросят: «Кто печь клал? Семериков. Всё, никакого знака качества не надо. А сейчас? – Николай Иванович зло сплюнул. – Что творится? За десять – пятнадцать лет народ испортили, вор на воре, рвач на рваче и все лодыри. Как я его ненавижу!

– Кого? – удивился Павел внезапному логическому скачку в речи Соколова.

– Вернее, не его, а их.

– Кого их? – Павел поразился перемене, произошедшей с начальником: о лени, воровстве и прочем, он говорил привычно, как актёр, исполняющий надоевший, который приходится повторять, текст, а слова о неведомых «их» он говорил со злобой, с вызовом.

– Кого,кого, врагов народа.

– Николай Иванович, враги народа кончились в тридцать седьмом году, опомнись.

– Ничего они не кончились – со злобой продолжал Соколов. – Перестали их расстреливать, расплодился они как вши на здоровом теле сельского хозяйства.

– Да кто это, кто?

– Черниченки эти, курвы ползучие. Ненавижу его, так бы и дал ему топором по загорелой лысине. Визжал: долой колхозное рабство, фермеры прокормят страну, а ведь пальцем о палец не колонул, чтоб эти фермеры на ноги встать смогли. Ну чего тебе, зачем пришёл? – выговорив первую злость, обратился он к Павлу, – Просить чего-нибудь?

– Николай Иванович, мне трактор нужен.

– Сходи, с мужиками договорись, они у крыльца курят.



– Видел я их. У всех «белорусы», а мне «сотка» нужна. Ещё бы лучше «кировец», у него триста лошадей.

– «Сотку», – протянул начальник. – На что тебе «сотка»? Видно, правду бабки в деревне судачат, что ты танк нашёл.

Николай Иванович не сводил пристального взгляда с Павла. Тот почувствовал, что краснеет, ещё мгновение и выдаст себя.

– Что ты Иван Николаевич, какой танк? Я документы в военном архиве смотрел, не было тут танковых частей. Тут же болота одни, чего здесь танкам делать, грязь месить?

– А что тогда? На что тебе «сотка»? Колись, говори правду, а то не дам ничего. И в район позвоню, что ты тут шакалишь.

– У меня всё по закону, у меня есть разрешение на поиски. Понимаешь, что-то там мы обнаружили, а что, неизвестно.

Ещё долго препирались Павел и начальник полусуществующей ПМК. Петя рассматривал Почётные грамоты на стене, цветные фотографии – память о былой славной, трудовой жизни колонны.

– Ладно, дам я тебе «сотку», – наконец, уступил Соколов. – Но с условием. Когда будешь тащить из болота твоё чудо подводное, позовёшь меня.

Выйдя из конторы, Павел сломил толстую крапивину, стегнул по голенищу сапога:

– Приеду сейчас, всем башки поотрываю. Говорил я: никому ни слова, что танк нашли, все деревни окрестные сбегутся его смотреть, а кому это нужно. В нашем деле, как можно меньше шума. Ещё не хватало, чтоб за нами по пятам «чёрные следопыты» увязались.

Всю дорогу до лагеря Павел молчал.

– Павел, – осторожно сказал Петя.

– Что тебе?

– Павел, но когда тракторист танк вытащит, он же всем расскажет, ему-то рот не заткнёшь. Всё равно все узнают. Ты зря расстраиваешься.

– Точно, Петро. Всё правильно. Если шило в мешке не утаишь, то танк в районе и подавно. Через два дня все знать бу-



дуг. Обрадовал ты меня. Ничего скрывать не буду. Спасибо тебе...

– ... за то, что идёшь ты по трудной тропе, – словами песни завершил Петя.

– Правильно, правильно. Ну ты, Пётр, и парень, – Павел обнял Петю за плечи, громко смеясь.

XIII

В Тиховодске не раз бывали цари, от Ивана Васильевича Грозного до Николая Александровича Романова, а Патриархи не посетили богоспасаемый град ни разу. Бывал здесь проездом будущий Патриарх, тогда в сане митрополита – Никон, другие видные иерархи, но Патриаршего посещения Тиховодск не удостаивался прежде. Поэтому весть о приезде Святейшего взволновала и обрадовала многих, верующих и не верующих.

Прибывшего из Москвы поездом дорогого гостя встречали на вокзале архиепископ Михей со священниками и архиерейским хором из кафедрального собора, глава области, глава города и иже с ними. После благословения Святейшего и взаимных приветствий, хор пропел Предстоятелю и всем присутствующим многолетие, затем Святейший проехал в гостиницу администрации.

Город проснулся умытый, освежённый поливальными машинами, не раз объехавшими центр. Постриженный кустарник у городской администрации, пышные кусты сирени в палисаднике небольшого двухэтажного деревянного домика по соседству с областной администрацией, бульвар на Пушкинской с яблоками нового урожая, чистое, ясное, тоже словно промытое небо – всё, даже сама природа, радовалось приезду Первосвятителя.

Ширков получил устное приглашение от Владыки Михея на всенощное бдение и Литургию, и открытку – билет на торжественный обед.



– Ширков, – сказала ему Маргарита, вертя в руках открытку – билет, – ты смотри у меня, нос не задирай. Не думай, что если Патриарх приглашает, так меня можно по боку.

– Ты что, с ума сошла?

– Я не сошла, ты не сойди. Бабы-то они бабы, у них семья, дети, а вы, мужики, за вами глаз да глаз.

– Да ты что, Ритусь? Какая муха тебя укусила?

– Не такая, какая тебя. Кто весной в пятом часу утра домой на бровях приполз. А с кем ты в кафе сидел? Я не стала детей будить.

– Да я у Сашки Воронина был.

– Не оправдывайся, не оправдывайся. Теперь мода такая, как мужик в гору пошёл, так ему бабу надо сменить, помоложе взять. Раньше вас обком в руках держал. Чуть что, живо аморалку пришьют, а нынче на вас удержки нет.

Такой разговор завязался у них с Ритой накануне Литургии, и Ширков не столько молился, сколько невольно вспоминал эту нелепую перебранку, едва не завершившуюся ссорой. Тем более нелепую, что он любил Маргариту и мыслей не держал, чтобы сменить её на кого-то. Она же не вещь, а человек, чтоб её можно поменять, думал он и во время великой ектении, и малого входа, и великого входа и начал успокаиваться и переставать думать постороннее только на пении Символа веры.

Литургия совершалась в нижнем храме Прилуцкого монастыря, в низком сводчатом помещении, куда не вошла и десятая часть мечтавших помолиться с Патриархом. На улицу были выведены репродукторы. Служба была слышна на всём пространстве перед собором, где собрались сотни людей. И когда раздалось:

– Со страхом Божиим и верою приступите! – все люди опустились на колени.

Затем последовало причащение исповедников, заключительные молитвы, отпуст и наступил миг, которого ждали все, ради которого в монастырь приехали многие горожане, люди из деревень и городов всей области, от её восточных границ, где на берегу широкой реки стоит, как Китеж-град город святого угодника Прокопия, до западных пределов области, где



родился и воспел свои дивные стихи олонецкий певун Н. Клюев. Святейший Патриарх не мог объехать всю область, одну из самых обширных областей Отечества и, чтобы повидать его и помолиться с ним, в Тиховодск съехалось немало благочестивых, православных людей. На монастырской колокольне радостным звоном запели колокола, распахнулись святые врата, из нижнего Спасского собора на белый свет выплыли, как знамёна, хоругви, за ними на белых полотенцах ряд икон, духовенство и рядом с владыкой Михеем вышел Патриарх. Справа и слева от него шествовали два добрых молодца, рослые, но не высоченные, однако с замечательно широкими плечами, огораживавшие Святейшего и Владыку от напора шедшей рядом с ними толпы.

Едва крестный ход вышел за монастырские врата, сразу началось пение, не умолкавшее пока ход обходил крепостные стены. Пели тропари Господу и Божией Матери, молитвы им, тропари и молитвы святым угодникам. В одном месте звучит «Воскресение Христово видевшее», метрах в десяти позади «Заступница усердная», то слышится «Правило веры, образ кротости», то «Иже добродетелей подвижник».

Крестный ход выливался широким людским нескончаемым потоком. Завернув за угловую башню, он растёкся по пологому берегу. Но основная масса людей шла по крепостным валам. Ширков сошёл с вала, чтобы посмотреть на ход со стороны. Многолюдное шествие первоначально вызвало сравнение с демонстрацией. Но было важное отличие. На крестном ходе радость была другая: тихая, не шумная, не громогласная, хотя все участники крестного хода шли с улыбкой, кто с открытой, кто с умиротворённой и даже как бы затаённой, про себя, о которой знает только он. И было явное ощущение света на лицах. Света раннего летнего утра, когда ещё сероватая ночная сутемнь не сошла на нет, и через неё наступает, прорывается и сейчас хлынет на землю лавина света. Это ожидание света жило на лицах прихожан, всех, кто не поленился приехать в обитель.

Чем дальше продвигался ход по валу, тем настойчивей прорастало в душе сравнение не с демонстрацией, а с во-



йском в походе. На длинных шестах покачиваются впереди войска наследники римских легионов лабарумы, но на них изображения не императора, а Христа и Богородицы, за ними идут певцы, а потом командиры и полководец, а сзади не построенное в чёткие солдатские шеренги, валит христолюбивое воинство.

Разглядев среди духовенства, сверкавшего на солнце золотом одежд, фигурку Владыки Михея, Ширков пожалел его: каково восьмидесятилетнему старику в плотном парчовом саккосе, с широким омофором на плечах, в митре на голове и с посохом тащиться по жаре. Приблизившись однако к этому участку крестного хода, он увидел, что Владыка отнюдь не тащился, шаг его был так же исполнен неторопливого достоинства, как будто шёл не по солнцепёку, а шествовал в своём прохладном кафедральном соборе. Одно показывало, что архиепископу тяжело: поминутно он вынимал белый платок и убирал им большие, крупные, как горох, капли пота, выступавшие на лбу и щеках. Владыка шёл и не падал только потому, что в сердце его не затухала молитва.

И диво дивное. В этом пёстром и тысячеликом людском потоке Владыка увидел его. Они встретились взглядами. Ширков, чтобы проверить, правда ли, что взгляды их встретились, поклонился Владыке и он, хотя расстояние было большое, и Ширков был тесним со всех сторон, ответил ему поклоном.

Была здесь и Вита. Ширков не раз видел её голубую с жёлтым косынку, но не старался искать её взглядом, она попадала во взгляд, как говорят дети, без спросу.

На середине каждой стены (прясла по-древнерусски) Святийший останавливался, возглашал:

– Господу помолимся, рцем вси.

Хор воспевал:

– Господи, помилуй..., а Патриарх, размахнувшись, кропил народ. Далеко в воздухе летели прозрачные гроздья, протягивались по воздуху цепочки капель святой воды. Люди вытягивали шен, вскидывали вверх руки, поднимали выше детей, чтобы уловить хоть малую толику живого, летящего в воздухе



жемчуга. Иподиаконы несли полные вёдра со святой водой, подливая её на каждой остановке в водосвятную чашу.

Но вот близко и святые врата. Долгое, часовое путешествие окончилось. Но не для Патриарха. Его у колокольни ждало несколько колоколов, специально отлитых к этому дню. Самый большой из них висит на стреле подъёмного крана. Патриарх читает молитвы, кропит кампаны (древнее название колоколов) святой водой. Первенец медленно поднимается над морем голов и вот уже поравнялся с площадкой звона, вот уже стоит на ней. Домкратами его поднимают к балке, где висеть ему и оглашать округу благовестом.

Ширков смотрел на уходившее в синее небо тело бронзового глашатая, ему вспоминались стихи Константина Ключевского:

В чудесный день даль неба голубая
Была светла;
Звучали с церкви, башню потрясая,
Колокола.

И что ни звук, то новые виденья
Бесплотных сил,
Они свершали на землю сходясь
Поверх перил...

И я не знал под обаяньем звона:
Что звук, что свет?
Для многих чувств нет меры, нет закона
И прозвищ нет!..

После подъёма колоколов наступило время трапезы. Для богомольцев и участников крестного хода на монастырской луговине были накрыты сколоченные дощатые столы, накрытые клеёнкой, а в честь Святейшего областное руководство давало обед.

Патриарший обед состоялся в белой палате, самом большом по площади и самом искусном в инженерном смысле по-



мещении монастыря. Своды, перекрывавшие палату по периметру, опирались на стены здания, а в центре палаты все своды сходились на широкий (сажень на сажень) столп. Своды были выведены так умело, что у любого человека, хоть что-нибудь смыслящего в кирпичной кладке, захватывало дух от того, с каким искусством древним зодчим удалось перекрыть столь большое помещение. Своды были необыкновенно красивы, как белые паруса.

Кроме большого Патриаршего стола, поставленного Покоем, в палате ещё были накрыты тринадцать длинных столов по 12 человек за каждым. Ширков сел за стол поблизости с Патриаршим.

В палате витал шум от заходящих в неё и вполголоса переговаривавшихся людей. Обстановка была как в зрительном зале перед началом оперы или симфонии: вразнобой шепчутся скрипки, что-то бормочут кларнеты, тромбоны, тревожно вздыхает арфа – все ждут появления дирижёра.

За спиной Ширкова раздались звуки множества шагов и вмиг вся палата смолкла. «Патриарх» – понял Ширков, оборачиваясь и вставая за столом, так же как встала и вся палата.

Патриарх встал у кресла, благословил обеими руками народ и сказал своим мягким голосом, которым, думалось, ни на кого невозможно даже прикрикнуть:

– Помолимся перед трапезой.

Вошедшие вслед за ним певчие, молодые здоровые ребята, звучными, бодрящими голосами начали:

– Отче наш...

К удивлению Ширкова подхватила вся палата:

– ... иже еси на небесех...

По своей самонадеянности он думал, что только он один знает слова молитвы.

После пения молитвы все уселись за столами. Справа от Патриарха сидел глава области, слева глава города.

Так близко он видел их впервые. Простые русские рабочие-крестьянские лица. И на всех лицах печать самодовольной тупости. «Нехорошо осуждать ближнего своего, – сказал ему



внутренний голос, – Тем более при Патриархе». А я не осуждаю, возразил Ширков, я просто констатирую факты. «Констатировать можно по-разному, – упрекнул его голос. – А как по-разному, если у всех одно выражение причастности к тайному знанию. А тайна эта проста: как не говорить людям правду».

Начались тосты. Первый тост говорил глава области. Видимо, тост ему подготовили умно, и он добросовестно заучил его, не сказал никакой глупости. Говорил глава долго, но суть сводилась к одному: как мы рады.

С ответным словом выступил Святейший, поблагодарил власти за приём, выразил надежду на плодотворное сотрудничество, затем несколько слов благодарности сказал Владыка.

Настала очередь городских властей. Сам Ломакин не выступал, недовольный приездом Патриарха, и вообще религиозной мутотенью, всё настойчивей вторгавшейся в его быт. Он поручил сказать слово своему заму. Зам его, бывший начальник железобетонного завода, не захотел смиренно удовлетвориться произнесением казённых слов, а решил, как в анекдоте «показать свой умище» и «порадовал» присутствующих открытием. Он сказал, что в древности люди стали рубить храмы, которые потом объединились, и так образовалась Православная Церковь. Его высказывание не было ересью, это была самая настоящая начальническая чушь.

Заму было невдомёк, что Церковь – это Тело Христово, т. е. прежде всего явление духовное, мистическое, и возникла она там, где из дерева ничего уже не строили, потому что остатки древних лесов повырубил римский меч. Первые христианские храмы появились в святилищах языческих богов, а в Риме вообще под землёй.

Ломакинский зам принадлежал к тому сорту людей, о которых А.С. Грибоедов заметил: «он чином от ума избавлен». Поэтому он ни с кем не советовался, ничего не читал, искренне считая, что начальник ошибиться не может, каждое слово его – правда.

Ломакин во время выступления своего зама кряхтел, морщился, сожалея, что доверил ему выступать, то же самое он мог бы сказать и сам.



Святейший спокойно выслушал ахиною зама, (в других областях ему, доводилось слышать и не такое, удручало, что эти люди ничему не хотят учиться), чокнулся с ним своей крохотной рюмочкой из розового хрусталя и пожелал здоровья.

От областной интеллигенции слово предоставили писателю Внукову.

Ширков был знаком с Викториним Андреевичем, который неоднократно приносил в газету свои лирические миниатюры и, когда называли его фамилию, посмотрел на него с надеждой, что он постоит за честь Тиховодска, не будет жевать и мямлить как глава, не будет нести околесицу, как зам.

Внуков построил своё выступление на стихотворении любимого поэта Тютчева. Внуков почитал Пушкина и Лермонтова, но Тютчева чтит особо, называя его заступником России. Тютчев, годами живший за границей, на себе испытал русофобию, свойственную западноевропейскому характеру.

Внуков говорил о нынешнем состоянии русского народа и Православной Церкви, о том, что не плоть, а дух растлился в наши дни, о тоске человека, живущем в безверии, о Церкви, как единственной бескорыстной заступнице народа, которая может помочь народу побороть его неверие. Но это возможно в союзе только с уверовавшей и полюбившей свой народ властью.

Внуков говорил умно, зажигающе. Вся палата слушала его, затаив дыхание, в конце выступления разразившись бурными аплодисментами.

Святейший Патриарх поблагодарил Внукова, благословил его иконой Божией Матери Тихвинской и сказал с улыбкой:

– Перефразируя Булгакова, Вы бы, Викторин Андреевич, в сущности, могли в московской духовной академии лекции читать.

– Далеко ездить на лекции, Ваше Святейшество, – отшутился Внуков.

На другой день Патриарх выезжал в село Покровское, но Ширков выпускал номер и поэтому оставался в городе.



Поутру отряд разбудил рокот трактора. Поисковики вылезали из палаток. Подминая чахлые болотные берёзки и осинки, продавливая болотистую почву, к ним неторопливо пробирался большой угловатый бульдозер, гораздо больший, чем они могли увидеть ранее. Это была знаменитая «сотка», трактор, использовавшийся в аварийных ситуациях. Восходящее солнце расплывчато плавало яичным желтком в отполированном, хищно – выгнутом широком ноже бульдозера. Мощнее «сотки» были только армейские тягачи, но кто же их даст отряду.

Рядом с бульдозеристом на обтянутом дерматином сиденье помещался начальник ПМК Николай Иванович Соколов.

– Чего рано-то как? – вылезая из палатки и во весь рот зевая, спросил Павел.

– Рот закрой, ворона залетит, – высунувшись в дверцу кабины крикнул Соколов, – у нас в другом месте ещё работы много. Не одни ваши игрушки из болота тягать.

Гусеничный монстр остановился, из кабины на гусеницу выбрался бульдозерист, спрыгнул на землю и, поздоровавшись, спросил что вытаскивать.

Выслушав Павла, он наотрез отказался что-либо делать, заявив, что танк за эти годы наверняка так врос в грунт, что его, во-первых, один трактор не возьмёт, надо второй звать, а, во-вторых, он спросил есть ли у них тросы, и заявил, что пусть ищут, где хочут – он так и сказал, а свой трос он рвать не даст. Сейчас всё развалено, база механизации закрылась и, если он свой трос порвёт, то останется совсем без троса.

– Сколько стоит твой трос? – не выдержав претензий выкобенивавшегося бульдозериста, ведь знал, сволочь, зачем едет, а хочет чего-нибудь урвать, спросил Павел.

– Смотря какой. Тыща, как минимум.

– На твою тысячу, – сунул Паша ему бумажку, – и давай за дело.

Бульдозерист расправил смятую рассерженным Пашей бумажку, разгладил её на колене, аккуратно вложил в нагрудный карман комбинезона. – Цепляйте.



– Петро, давай, – скомандовал Павел.

Петя закрепил один конец троса за бульдозер, со вторым концом вошёл в воду, набрал полную грудь воздуха и погрузился в тёмно – бурую воду. Долго тянулись минуты. Петя вынырнул с концом троса, все подумали: не зацепил. Но Петя, заведя трос за крюк под днищем танка, выволок второй конец троса на берег и его закрепил за бульдозер.

– Пошёл! – крикнул Павел.

Бульдозер поехал вперёд. Трос натянулся, как две струны, торфяная земля струёй летела из -под вращавшихся гусениц. Бульдозер ревел, распугав окрестное зверьё и птиц, однако ни на сантиметр не двинулся с места. Как и говорил бульдозерист, силы одного бульдозера явно не хватало. «Неужто второй трактор просить» – подумал Павел и посмотрел на Соколова. Тот, счищавший ногтём мизинца кусочки торфяной грязи, налипшей на куртку, встретил его взгляд, поднял плечи и развёл руками, словно желая сказать: «А я чего? Я ничего». «Не даст он второго трактора» – грустно подумал Павел.

– Рубите кустарник, бросайте под гусеницы, – зло велел бульдозерист, сдавая машину назад. – Да пошевеливайтесь.

Под ударами топоров затрещал кустарник, на землю полетели ссечённые одним взмахом топора березки, осинки.

Вторая попытка тоже не принесла успеха, но теперь гусеницы выбрасывали больше воды, чем земли.

– Сяду я с вашей дурындой на пузо, забурюсь, что меня надо вытаскивать будет.

Все молчали. Ни Соколов, ни тем более Павел не могли заставить бульдозериста рисковать. А если он и на самом деле застрянет? Кто его будет вытаскивать?

– Ладно, так и быть, – сказал бульдозерист. – Попробую рвануть. Вдруг что получится.

– Давайте, помолимся все, – сказал Петя и чуть не смутился от мысли, что его поднимут на смех.

– Нет, правда, – сказала Валя, подошла и стала рядом с Петей.



Никто не возразил им, но никто и не присоединился. У всех на лицах была покорность, если бессилён бульдозер, как можно заниматься чем-то, не имеющим к делу отношения.

Бульдозерист занял своё место в кабине, тронул бульдозер. Петя и Валя перекрестились, смотрели на средину озера, шепча про себя «Отче наш», Богородицу Дево», «Спаси, Господи, люди Твоя».

– Ты не знаешь, – наклонился Петя к Вале, – какой святой покровительствует бронетанковым войскам?

– Не знаю, – ответила Валя.

– Тогда давай Николаю Угоднику, – сказал Петя.

– А потом Георгию Победоносцу, – согласилась Валя.

Бульдозер в этот раз метра три отработал назад, тросы обмякли, легли на землю, а трактор, прибавив обороты, рванул с места в карьер, тросы натянулись, казалось, дотронься, зазвенят. Двигатель неистово ревел, выл, как будто рвался в атаку, из-под гусениц летели, мелькали в воздухе прутья, вицы, листва. Внезапно поверхность озера дрогнула, по ней пробежали складки ряби, бульдозер продвинулся вперёд и пошёл, пошёл (!), под восторженные вопли и рукоплескания.

Первым из воды показался дульный срез ствола, затем башня с открытым люком, люк механика – водителя. Бульдозер подволок танк к берегу, вытащил на берег. Это был танк Т-34 первых выпусков, с пушкой калибра 76 миллиметров, без командирской башенки. Боевая машина истекала ржаво – мутными ручьями, катки и пространство под гусеницами было забито торфяной землёй и глиной.

– Ах, вот ты, голубчик, какой, – радостно потирая руки, обходил Павел танк, хлопая по башне ладонью, и вдруг, спохватившись, запрыгнул на гусеницу бульдозера, пожимая руки и обнимая бульдозериста. – Спасибо, спасибо, друг. Ты не представляешь, какое ты великое дело сделал. Великое дело, а ты про трос мне...

– Кто старое помянет, – отговаривался бульдозерист, подумавший было, что Павел потребует тыщу назад.

А Павел, спрыгнув на землю, обнимал и благодарил Соколова.



Весь отряд обошёл вокруг танка, ребята забирались на гусеницы, заглядывали в башню, в которой ещё стояла медленная, на глазах уходившая вода.

– Ну, братцы-ёжики, – сказал Павел и поправился, – нет, отныне вы – орлы. Ну, орлы, как пелось в советской песне: «трудовые будни – праздники для нас». Нам предстоит праздник на всю неделю. Когда уйдёт большая вода, нужно протереть весь танк изнутри, вооружиться тряпками, банками. собирать воду в самых укромных уголках и отжимать её в банки. Этим займутся самые худенькие. Я буду перебирать двигатель. Хорошо бы вынуть его краном наружу, но это, увы, недостижимо. Работа, простите, праздник найдётся для всех: вениками, щётками нужно продрать танк снаружи, отчистить от глины и торфа ходовую часть, прочистить канал ствола. Итак, орлы – на Берлин!

В танке никого не оказалось, он был пуст. Это удивило, но и обрадовало Павла. Было бы любопытно узнать, куда пропал экипаж, а с другой стороны, хорошо, что не придётся доставать из танка тела бойцов, на девушек подобные мероприятия производят тягостное впечатление. Тел не было, а оружие было на месте: пулемёт со снаряжённой лентой, возле командирского места обнаружился автомат Судаева (ППС), в целости был и боекомплект снарядов.

Услышав об оружии, зашевелился, тихой мышью пребывавший доселе, не вступавший ни с кем в разговоры и вообще державшийся наособицу майор из военкомата, одетый в современную мешковатую форму, с тряпочными погонами без просветов.

– Павел, сдайте оружие, – сказал майор.

– Отвяжись, майор, – сказал Павел, – не до тебя.

– Я буду обязан доложить по начальству, что Вы нарушаете инструкцию

– Докладывай. Сам и взвоешь, потому что всё, что делаем мы, прошу заметить бесплатно, из одной любви, начальство взвалит на тебя. Но как только узнают, что тут причастно государство, за спасибо помогать тебе никто не будет, ты бу-



дешь искать деньги, их не найдёшь, дело затянется, повиснет на военкомате, военкома будут склонять на разных совещаниях, он тебя не взлюбит, потому что ты навязался ему на шею с этой грудой металлолома (я не считаю танк металлоломом, так будет говорить тебе начальство). В итоге тебе никогда не быть подполковником, а мечту о полковничьей папаше лучше вообще забыть. Так что не мешай нам работать, а лучше помоги, выковыривай грязь между катками. Получишь ты своё оружие по акту в целости и сохранности, а пока дай детишкам поиграть в войнушку, поддержать в руках настоящее боевое оружие.

Услышав просьбу о помощи, майор умерил свой пыл и отправился гулять по болоту, где приманчиво цвели бледно-алые цветы аира.

Прошла неделя. За семь дней неустанных трудов танк был высушен, протёрт, дизель перебран, промыт в керосине, снова собран, заправлен соляркой, словом, готов к бою. За годы водного плена кое что поржавело, всего сильнее пострадала оптика, цель виделась в прицел как через мутное бутылочное стекло, а в целом танк был хоть куда. На боку башни весьма заметно (не надо особо приглядываться) суриком нанесена надпись: «За ВКП(б)!»

– У Бориса Сафонова на фюзеляже была такая же, – сказал всезнайка Петя.

– А кто это? – полюбопытствовал кто-то.

– О-о, знаменитый великий лётчик, – всегда радый возможности что-то объяснить, сказал Петя. – Борис Феофистович Сафонов первый дважды Герой Советского Союза в Великой Отечественной войне воевал на Северном флоте. К моменту своей гибели сбил 22 немецких самолёта, больше, чем любой из советских асов. Если бы не гибель, он бы превзошёл и Pokryшкина, и Кожедуба.

– Кто ж его сбил, раз он был великий?

– Никто. Военные историки говорят, что причиной его гибели был отказ мотора. Воевал он на английском «Харрикейне», летал над морем, там не приземлишься.



Павел эту неделю помимо хлопот с двигателем, разобрал, протёр и смазал ППС, насухо протёр каждый патрон в магазине. Механика автомата работала безотказно, оставалось проверить его в стрельбе.

В день проверки автомата в отряд приехал посмотреть на дела Николай Соколов, и был радостно удивлён как преобразился танк. Когда он уезжал, танк, опутанный водорослями, тиной, покрытый какой-то слизью, выглядел подводным чудищем из зверинца царя морского, а тут перед ним стояла красивая, советская боевая машина. Он поддался искушению, вынул из кармана носовой платок, и, подобно занудному, от которого в казарме прячутся солдаты, старшине, провёл платком по башне. Платок только повлажнел от росы, что за ночь осела на танке.

– Ну и ну, – сказал Соколов, – стерильность как в кремлёвской больнице.

Павел ходил возле танка с автоматом.

– Ты чего бродишь, как белорусский партизан?

– Да вот ищу, куда бы выстрелить.

– Вон белка на сосне, – сказал кто-то.

На ветке сосны сидела и безбоязненно смотрела на людей храбрая белка.

– Ещё чего, – возразил Павел, – стану я Божию тварь губить.

– Пожалуйста, вот мишень подходящая, – сказал Соколов и повесил на сучок осинки газету с портретом Ельцина. – Паша, дай автомат.

– Нет, – сказал Павел.

– Ты что, жалеешь его? – спросил Соколов.

– Ни в малейшей мере, – ответил Павел. – Но мы же русские люди, а не гангстеры из Чикаго. Его надо судить, чтоб всё было честно. Чтоб не сказали, что мы поймали в лесу старика и, пользуясь численным превосходством, приколошили его.

– Ну это долго, – возразил Иван Николаевич. – Долго ждать. Паша, дай автомат, руки чешутся.

– Мы проведём упрощённый суд, как в Нюрнберге.



Никто не хотел выступать в роли Ельцина и его защитника, зато много вызвалось желающих на роль судьи и прокурора.

Майор из райвоенкомата, сказал, что о, как лицо официальное, требует прекратить эту комедию, мы не в театре, но поскольку он знает, что его не послушают, он отстраняется от какого-либо участия в издевательствах над президентом.

– А то, что он издевается над страной и народом, ты не отстраняешься, – потрясая кулаками, приступил к нему Соколов. – То, что он врёт на каждом месте и напивается, как свинья при всех, ты не отстраняешься? Ответь мне, ты присягу кому давал, служить: Родине или президенту, мать его... – тут Николай Иванович вспомнил, что в отряде есть девушки, и удержал в горле выражения окопного фольклора. – Я не знаю нынешнего текста присяги, но знаю, что в той, которую я солдатом принимал, о Брежневе не говорилось ни слова. Отвечай...

– Я не желаю отвечать на провокационные вопросы, – майор заткнул уши, чтоб не слушать яростных воплей начальника ПМК, и опять удалился на болото.

– А то, что эта пьянь хроническая каждый день Родину продаёт Америке, трижды мать его в загробное рыдание, – вдогонку крикнул Соколов.

– Итак, продолжим, – открыл заседание Павел. – Суд приступает к рассмотрению дела гражданина Ельцина Бориса Николаевича. Какого года рождения?

Судья вопрошающе глянул на всех, но никто не знал года рождения.

– Хорошо, – сказал судья, – потом уточним, когда документы будем письменно оформлять. К рассмотрению дела по обвинению в измене Родины. Подсудимый, признаёте вину?

– Конечно, нет, что это будет за суд, если я сразу признаю свою вину?

– Подсудимый, вы протрезвились?

– Протрезвился, но не опохмелился, гражданин судья.

– Суд не опохмеляет. Во всяком случае, вы способны понимать и отвечать на вопросы.

– Слово представителю обвинения.



Студент заочной юридической академии перечислил провинности Ельцина, начиная со взрыва Ипатьевского дома, участия в Беловежском сговоре, двух чеченских войн, фальсификации выборов до других менее значимых, но весомых деяний.

– Слово представителю защиты

– Уважаемый суд, прошу принять во внимание дурную наследственность подзащитного, врождённую злобность, плохую учёбу в школе, институте, пристрастие к алкогольным напиткам.

– Защитник, в наших условиях, это отягчающее обстоятельство.

– За пьянство на работе уголовной ответственности нет, это подходит под административное взыскание.

– Смотря, на какой работе. Одно дело, если на работе пьёт дворник, другое – глава государства. В первом случае останутся неподметёнными окурки на тротуаре, во втором случае налицо угроза интересам государства.

– Как положительный момент в поведении моего подзащитного, заявляю, что он избегал мата в разговорах.

– Кто свидетельствует об этом?

– Коржаков.

– Свидетель сомнительный, поскольку он лицо заинтересованное, к тому же он соучастник, если не подельник подсудимого. И вообще, Гитлер и его сообщники тоже не матерились, но вина их перед Советским Союзом и его народом от этого не меньше.

– Товарищ судья, но это казуистика.

– Попрошу без оскорблений суда. Рассмотрев все обстоятельства дела, суд по совокупности преступлений приговаривает подсудимого к высшей мере социальной защиты – расстрелу. Подсудимый, ваше последнее слово.

– Что ж расстреливайте, ваша взяла. А в Европе, между прочим, смертная казнь запрещена.

– Мы не в Европе, мы в лесу.

– Нам Европа не указ. Она Гитлера воспитала, на нас натравила, а сейчас говорит, что Красная армия не при чём.



Это, дескать, европейцы с америкашками Гитлеру рога обломали.

– Привести приговор в исполнение.

Павел вскинул автомат к плечу, передёрнул затвор, прицелился.

– По предателю Родины, наймиту американского империализма, врагу советского народа, подлому алкоголику...

– Огонь, – закричали все хором.

Короткая очередь оставила на газете тёмное рваное пятно.

Павел, Соколов, Петя, Валя и другие подбежали к осинке.

– Советское – значит надёжное. Смотрите почти 50 лет в воде, а работает, как часы. И патроны исправны, ни одной задержки. А кучность, кучность какая, пять пуль и все легли в советский рубль, с дедушкой Лениным который.

– Дай-ко, – попросил Соколов.

Паша передал ему автомат.

XIII

Через несколько дней после отъезда Святейшего Патриарха из Тиховодска в городе состоялись большие похороны, каких не случалось давно. Старожилы ещё помнили похороны с оркестром, когда покойника под гром труб и бой барабана возили по главным городским улицам и затем малым ходом машина ехала на Горбачёвское кладбище, а за нею шла тысячная или сотенная (смотря по чину покойника) толпа народа. Теперь это великолепие ушло в прошлое, город выросся, населения в нём стало в шесть раз больше и, если каждого хоронить с музыкой, то горожане вскоре будут знать репертуар оркестра наизусть. Да и приятно ли, по совести сказать, выслушивать пациентам городской больницы или старым больным людям в жилых домах стенания труб и валторн, своим минором надрывавшими душу и, кажется, отнимавшими последние остатки здоровья. И вообще современное человечество не любит напоминания о смерти. Ритуал



похорон направлен к тому, чтобы повернуть их поскорей и незаметнее.

В день выхода на пенсию в своём кабинете за рабочим столом умер председатель горисполкома Пармен Ломакин. В некрологе о нём так и написали: сгорел на работе. По поводу его смерти ходил различные слухи, что умер он по вполне естественным причинам – остановилось сердце. Недруги шептались, что остановилось оно от того, что накануне, на праздновании юбилея Пармен хорошо дал, вот сердчишко и не выдержало. Умереть в 60 лет, какой это возраст? Благодаря достижениям медицины (гигиены и фармацевтики), 60 лет в наше время – это средний возраст. Вокруг внезапной смерти горячего председателя бродили слухи и скабрёзного толка, не красившие моральный облик покойного. Надо сказать, что особой любовью горожан Ломакин не мог похвалиться.

Гражданская панихида проходила в здании областного театра, любимого детища Ломакина – здания в духе конструктивизма, где один тусклый параллелепипед давил на другой, производя впечатление хаоса. Но Ломакин в архитектуре ничего не смыслил, зданием гордился и полагал, что осчастливил им город.

Из театра похоронная процессия направилась на кладбище. Городской оркестр ехал на специально арендованном автобусе.

В этот же день хоронили тех 37 несчастных, убитых по приговору областного ЧК много десятилетий назад. Провели все экспертизы, составили акты. Заявления о реабилитации были отклонены областной прокуратурой по причине виновности их перед советской властью. Их бы похоронили гораздо раньше, а не через полтора года, но волокита возникла в связи с оформлением документов, различных актов, справок. Затем произошла задержка финансовая. В областном бюджете не было статьи на массовые захоронения. Искали спонсора, или по-русски благотворителя. Деньги бы, конечно, нашлись. Давно известно, что всегда дело упирается не в деньги, а в недостачу любви. Эти 37 убитых оказались никому не нужны. Их



никто не помнил, о них забыли. Если бы это были воины, павшие в годы Великой Отечественной войны, то они могли бы пройти под рубрику патриотического воспитания. Возможно, это тоже были герои, но герои другого рода.

Наконец, всё устроилось, нашёлся добрый и щедрый человек, не пожалевший денег. Экскаватор, типа обратная лопата, вырыл десятиметровую траншею.

Не было некрологов ни в газетах, ни по радио, ни в телевидении. Люди собрались, оповещая друг друга лично, по телефону, священники в приходских церквях огласили о погребении с амвонов.

На большегрузной фуре привезли гробы, сгрузили и опустили в могилу, положив стопами – по четыре гроба один на другой.

– Гробы-то дешёвые, – шептались старухи, приехавшие рейсовым автобусом.

Из областного и городского начальства никто не пришёл. Был архиерей, но он начальник только над попами, иным людям он ничего приказать не может.

Областные власти объяснять ничего не пожелали, не пришли и всё. Или сами не захотели или указание из Москвы получили. А в городе (это разошлось, как слух) какой-то чин сказал: они не наши, белые, чего мы там не видели, пойдём хоронять. «Ну, дураки, – думал Роман, – семьдесят лет прошло, красные и белые давно в своих могилах сгнили, кто на родной земле, кто в Париже, жизнь вся изменилась, а эти всё старьё пережёвывают, уняться не могут».

Ломакина хоронили на почётной аллее городских знаменитостей, а 37 – у кладбищенской ограды, но место было такое, что Роман, стоявший у глубокой могилы, словно разрывался на двое, слушал приносимые ветром речи выступавших (там начальство было в полном сборе) и следил за ходом панихиды.

Архиерей грузно выбрался из машины, поправил на голове клобук, иподиакон подал ему посох. Он шёл стариковской походкой, наклоняясь вперёд, ветер отдувал свисавшие из-под клобука седые косицы волос.



Ломакину купили гроб по высшему разряду, обитый багровым бархатом, с кистями на углах, с никелированными ручками по бокам. С гробами офицеров получилась неувязка. Конечно, они были самые дешёвые, но не станешь же их хоронить в простых, дощатых гробах. Красным сатином обтягивать гробы не стали, обтянуть бы белой материей, так никто не видел белых гробов, их обколотили светло-зелёной тканью.

У могилы Ломакина говорили, что он неустанно развивал город, много строил.

А Роман думал: «Да, да. Строил много, снёс городскую святыню, обыденный храм. Уничтожил деревянный Красный мост, пожалуй, единственный в России. Приказал снести кладбище, по могилам ездил бульдозер и срезал памятники и кресты. И было это при нас, а не в тридцатые годы». Некрасов не про него ли сказал:

«И сойдёшь ты в могилу... герой.
Втихомолку проклятый Отчизною,
Возвеличенный громкой хвалой».

У ломакинской могилы звучало: водопровод, канализация, бетон, асфальт, оконные блоки, плиты перекрытий. А здесь, у нашей могилы (подумал Роман):

– Упокой, Господи души усопших раб твоих.

Там говорили о ЖКХ, о том, что при Ломакине наш древний Тиховодск молодец (Да, молодец, старинные дома кварталами сносились).

А здесь слышалось:

– Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть, и вижу во гробех лежащую... нашу красоту...

Владыке сослужили два священника и один протодьякон.

Почему Роман втайне уже много лет симпатизировал белому движению, хотя не жил в те годы ни дня, а в школе с восторгом заливался на уроках пения песней «Гулял по Уралу Чапаев герой», он не ответил бы определённо. Вероятно, это было чувством протеста против власти, которое есть у каж-



дого человека: не все послушались, кто-то выступил против. Но скорей всего, как и каждый русский думает о России, так и в Советском Союзе люди создали, вымечтали себе романтический, идеализированный образ былой России и верили, что именно белые воплощали этот образ. Городским и областным властям было недосуг задуматься и понять, что и красные и белые одинаково дети России. Властям областного уровня на посторонние темы думать не полагается, нужно исполнять задания очередной пятилетки.

Священники вместе с протодьяконом пели:

– О чуде, как предахомся тлению, како сопрягохомся смерти. Воистину Бога повелением.

В пение вплетался старческий, но очень верный тенорок архиерея. Однако звучнее всех, громче, не перекрывая голоса, а поглощая, вбирая их в себя, как река принимает втекающие в неё ручьи, звучал голос священника, который выделялся среди всех. Выше среднего роста, не полный, а плотный, с красивой породистой головой, украшенной чёрными завитками волос, он пел, не напрягаясь, но могучий удивительного мягкого, волокнистого тембра голос, шёл впереди и выше всех голосов и звал за собой.

У Ломакинской могилы выступления завершились. Оркестр заиграл «Помер наш дядя, как жалко нам его», гроб с телом председателя опускался в могилу.

У большой могилы, под взмахи кадила и ладанный дымок запели «Вечную память». Голос священника свободно прорезал скорбные Шопеновские аккорды. Некоторые музыканты посматривали искоса на могилу, к которой малым ходом подкапывал колёсный «Белорус» с ножом бульдозера: если зарывать десятиметровую могилу лопатами, на это уйдёт не один час.

С Ломакинской могилы уходили последние провожающие, когда трактор закончил работу.

Архиерей, протодиакон и священники запели:

– Души их во благих водворятся и память их в род и род.

Потом архиепископ Михей, попросив всех подойти поближе, сказал надгробное слово. «Всех нас собрало вместе



печальное событие, говорил он, предание земле останков погибших воинов, Много десятилетий они были просто зарыты, как писал народный поэт Некрасов: без церковного пенья, без ладана, без всего, чем могила крепка. Лежали вне церковной ограды, без напутственной молитвы. Лежали, как прежде погребали людей отверженных: самоубийц, отрекшихся от веры. Никто не мог к ним придти, посидеть на могиле, пролить слезу, помолиться о них. Сегодня эта ошибка исправлена. Страна наша в давнее время оказалась расколота на два лагеря: красный и белых. Сегодня мы предали земле белых воинов. Пора прекратить это разделение, пора закончить вражду, надо примириться, мы дети одной Родины. Довольно искать красную и белую правду. На полях Великой Отечественной войны мы осознали (должны были осознать) что правда у нас одна.

Владыка благословил всех, слушавших его. У Ломакинской могилы никого не осталось. А Роман включил переносной магнитофон..

Над обезлюдившем кладбищем мощный оркестр бросил ознобный грозовой аккорд и великий хор Александра во всю богатырскую статью грянул извечный гимн русских героев про последний парад:

Наверх вы, товарищи, все по местам!
Последний парад наступает.
Врагу не сдаётся наш гордый «Варяг»
Пощады никто не желает.

Песня стелилась над кладбищем, над могилами, над позванивавшими на ветру металлическими венками, над стаей ворон, клубившейся на краю кладбища, над оглянувшимся Владыкой, летела к городу, зубчатой стеной из домов и заводских труб встававших на горизонте.

Роман увидел Широкова в самом начале панихиды, но не захотел проталкиваться через людей и поздоровался, когда все расходились.



Втроём они шли с кладбища на остановку автобуса. Саша бежал впереди.

– Это ты здорово придумал, с «Варягом». – сказал Ширков Роману, – Молодец.

– Надо же их, как людей, в последний путь проводить. А то правильно сказал этот старый священник, что их как псов подзаборных зарыли.

Ширков не стал уточнять, что это за старик и что о псах не было сказано ни слова, потому что за его спиной визгнули тормоза, в знакомой белой «Волге» открылась дверца, и голос Владыки сказал:

– Вас подвезти, Владимир Леонидович?

– Прости, – сказал Ширков подал Роману руку и шагнул к машине.

Владыка пригласил бы и Романа, но непоседа Саша убежал в это время за железную будку остановки.

– Вот где довелось повидаться, Владимир Леонидович, – сказал Владыка, когда машина двинулась с места. – Скажите, что за похороны были неподалёку, с оркестром, с обилием народа? Какой-то начальник, я думаю.

– Глава города.

– Не тот, который бульдозеры по кладбищу пустил?

– Он самый.

Владыка помолчал, посмотрел на автобус с оркестрантами, который обгоняла машина, сказал сам себе:

– Что за людей вырастили, ничего им не жалко, – и, обращаясь уже к Ширкову, заметил. – А оркестр играл неплохо, Вы не находите? Особенно вот это место, – Владыка пропел мелодию.

Ширков был не настолько образован музыкально, чтоб судить о качестве игры оркестра, поэтому только поддакнул, но чтобы поддержать разговор сказал:

– Ваше Высокопреосвященство, а вы знаете, как в народе называют этот похоронный марш?

– Если быть точным, это не самостоятельный марш, а третья часть из сонаты си бемоль минор Шопена. Как же?

– Помер наш дядя.



– Не понимаю. Какой дядя? При чём тут дядя?

Ширков набрал воздуха в грудь и заодно смелости и запел:

– Помер наш дядя, как жалко нам его.

Он нам наследства не оставил ничего...

Потом пропел то место, которое в игре оркестра похвалил Владыка и продолжил:

– Ту сто четыре лучший в мире самолёт.

Эффект был поразителен. Владыка так захохотал, что шофёр затормозил, Владыка, не переставая хохотать, выпил минеральной воды, которой налил ему шофёр.

– Ох, Владимир Леонидович, жизнь прожил... Прошу Вас, не смешите меня так, а то у меня поднимется давление.

– Дядя...дядя.. – повторял он, хохоча и утирая платком покрасневшее лицо..

Машина заехала на Горбатый мост, слева белел кафедральный собор.

– Едем с похорон, а хохочем, – пожурил сам себя Владыка.

Автобус долго не шёл, Роман стал зябнуть, да и Саша извёлся, побегал вокруг остановки, чтоб согреться, но устал, притомился ожиданием, приткнулся к отцу.

Две говорливые старухи от нечего делать ругали городские власти, что автобусы не могут наладить, чтобы хорошо ходили, затем естественным образом добрались до властей московских. Попало и Ельцину и тогдашнему премьеру за маленькие пенсии, за цены в магазинах, что Ельцин не знает про то, что простой народ плохо живёт, а беда в том, что его обманывают, вот Сталин, тот всё знал.

Корреспонденту местной газеты, которую в народе называли «Подотриськой» за то, что она собирала разные сплетни и слухи и процветала на этом, надоели сетования старух, и он вздумал посмеяться над ними.

– Сталин не всё знал, бабки. Вот вы знаете, сколько времени длится полураспад трития?



Старухи глянули на него, как на деревенского дурачка.

– Вот, вот, – смеялся, довольный эффектом разбитной трепач, – и товарищ Сталин этого тоже не знал. А Ельцину, что надо знать, он знает, будьте спокойны.

– Баушки, – начал опять журналист, напустив на себя серьёзный вид, – вы на меня не обижайтесь, что я над вами пошутил, но у меня к вам вопрос. Вместе с вашим архиереем поп голосистый приезжал. Я в Бога само собой не верю, но поёт он классно. Кто это?

Старухи, смотревшие на парня, как люди смотрят обыкновенно на твякающую и мешающую всем шавку, глянули на него по-другому. Взгляды у них потеплели.

– Отец Владимир это, – словоохотливо говорила старуха в сером вязаном платке, – настоятель нашей Лазаревской церкви.

– Голос у него хороший.

– Он в хоре Троице-Сергиевой лавры пел. Его сам архимандрит Матфей хвалил, – старуха подняла взгляд на газетчика, который не слыхивал это имя. – Когда он ещё в семинарии учился, – в тон ей рассказывала другая старуха, – к нему артист приезжал из Москвы, из самого главного театра. В певцы его звал. Вас будет вся страна знать, а здесь кто, одни старухи. Так отец Владимир ему ответил: Пою Богу моему дондеже есть. А старух вы не обижайте, они веру Христову на Руси сберегли.

– Хороший, говорите, человек? – вроде бы участливо, с сочувствием спросил газетчик.

– Хороший, хороший, добрый, – радые возможности похвалить священника, затараторили старухи.

– Так чего ж он вас в машину не посадил, оставил на ветру мёрзнуть?

Старухи смутились, не ожидая такого поворота в разговоре.

– Тьфу, дурак ты, – наконец, сказал одна и плюнула.

Но газетчику было безразлично проявление старушечьих чувств.

– Я так и знал, – равнодушно сказал он. – Что этим и кончится. Оскорблением. Такова доля всех, несущих народу правду.

Роман подумал, что есть такая порода людей, которые не могут обойтись без того, чтобы не сказать гадость.



Вечером по городскому каналу телевидения показали подробный репортаж о похоронах Ломакина, о том, что он развивал город, прокладывал дороги, водопровод, канализацию, за это и присвоили ему звание Почётный гражданин Тиховодска. О том же, что он снёс собор – городскую святыню, уничтожил старинное кладбище и о многих других мелочах, которые уродовали душу города, а так же о похоронах, проходивших по соседству, не было сказано ни слова.

Тиховодские острословы сказали о Ломакине, что у него было водопроводно – канализационное образование, и что в Древнем Риме ему бы поставили памятник с сантехническим ключём в руке и с квачом за поясом.

XIV

После испытания автомата на боеготовность райвоенкоматский майор куда-то исчез. Не сказал никому ни слова. Павел подумал: не провалился ли в какую-нибудь бочажину, а то отвечать-то отряду. Он организовал поиски. Бойцы ходили по болоту, аукали, но майора и след простыл.

– Может, змеюка укусила, – сказал Петя.

– Не укусила, а ужалила, – поправила Валя, – умник, а других учишь.

– Не гуси же лебеди его унесли, – сказал один из поисковиков.

– Никто его не ужалил. А унести его могли только черти, – усмехнувшись, сказал Павел. – Темнило он, объявится скоро, помяните моё слово.

Майор объявился на другой день. На бронетранспортере, с райвоенкомом и главой администрации района.

– Явился, – проворчал Павел, которому не хотелось расставаться с автоматом, популять бы ещё на болоте, только красного флага над кабиной не хватает.

Отряд обступил восьмиколёсную машину. Из кабины, показалась правая нога, вернее начищенный до блеска хромо-вый сапог военкома, а потом и сам военком, крепко сбитый



подполковник со смуглым, загорелым лицом кавалериста и с кавалерийскими же, браво подкрученными усами.

– Здорово, Павел, – легко прыгнув на землю, подал он Павлу руку. За ним из кабины выбрались глава администрации, майор.

– Вот он, сокровище ваше, – показав на него ладонью бойца, сказал Павел. – Любуйтесь.

– Самоуправствуем помаленьку, Паша? – сказал военком как бы между делом Павлу.

– То есть?

– Оружие не сдаём, стрельбу открываем.

– Кто сказал, что я оружие не сдаю, – ершисто возразил Павел.

– Товарищ майор, – кивнул на майора военком.

– Товарищ майор преувеличивает, если не сказать грубее, – перешёл в наступление Павел, – весь отряд свидетели, что слов о несдаче оружия не было произнесено. Верно, ребята?

Все загалдели, подтверждая правоту слов командира.

Райвоенком хотел что-то сказать, но Павел перебил его:

– Мы не голым поиском занимаемся, а воспитательную работу осуществляем, верно, – и не дождавшись, когда военком согласится с ним, Павел продолжал, – должен же я показать молодым поисковикам оружие, с которым их деды били гадов-немцев, дать поддержать его в руках? Должен.

Из БТРа между тем выбирались солдаты. Пять человек.

– А теперь, когда автомат все подержали в руках, разобрали и собрали, пожалуйста, – Павел шагнул к палатке, взял у себя под подушкой и подал военкому.

– Гляди ты, как новенький – восхищённо сказал военком, – блещит даже.

– Оружие любит ласку, чистоту и смазку, – подмигнув отряду, сказал Павел, показывая, что он с военкомом на короткой ноге.

Военком не сдержал первого движения души, которое возникает у любого здорового, годного к строевой мужчины, пустил очередь в воздух.

– Эх, красота, – воскликнул и, наклонившись, подобрал отстрелянные гильзы, – Сидишь в кабинете военкоматском, жизни живой не видишь. А тут такие дела творятся. Вы, ребята, друзья



мои – с автоматом в руке говорил он бойцам, – огромное дело делаете. Будь моя сила, я бы вам всем памятники поставил.

Глава района ходил вокруг танка, как цыган на рынке ходит вокруг полюбившейся ему лошади. Обошёл и раз, и два, и три.

А солдаты, приехавшие на БТРе, выгружали из танка боезапас: один солдат брал снаряд из боеукладки, подавал его стоящему на месте командира танка, тот перекладывал в руки солдату, стоявшему на гусенице и так, передаваемый по живой цепочке, снаряд обретал покой на песчаной подушке в БТРе. В БТР загрузили 77 снарядов, два пулемёта, около трёх тысяч патронов, замок от пушки. Райвоенком со спутниками укатил на БТРе. Зачем сюда приезжал глава района, Павлу не сказали, а он не спросил, потому что начальство пусть малого калибра, но лишних вопросов не любит. Однако приезжал он явно не для того, чтобы, похлёстывая себя по голенищу резинового сапога прутиком, покружить у танка, что-то бормоча себе под нос и причмокивая.

Вечером, когда отряд уgomонился и лёг по палаткам спать, Павел сел на пенёк у танка, припоминая танковую эпопею, как впервые услышал о танке от старухи (она умерла в ту же зиму), как ходил по деревням, уточняя место гибели танка, крестьяне не хотели ему говорить, сколько он споил водки, чтобы развязать им языки, как однажды между деревнями его накрыла метель, он заблудился и чуть не замёрз насмерть, как по весне на него налетела собачья свадьба и, если бы на дороге не валялся палец от тракторной гусеницы, то неизвестно грустил бы он сейчас на пеньке. Но грустил, тосковал, за эти два-три года разговоров, поисков, извлечения из болота он привык к машине, полюбил его как живое существо, как казак любит боевого коня, охотник верную собаку. Вся его жизнь и жизнь его рода была связана с армией, с разговорами о ней, о винтовках, походах, танках и пулемётах. Старший брат отца воевал ещё на Хасане и дома сберегался значок той поры: на фоне Красного знамени стоит боец в каске с винтовкой в левой руке, с гранатой в правой, и внизу подпись: ХАСАН 6 VIII – 1938.

Не возмёшь из армии ни автомат, ни ручной пулемёт, ни сапёрную лопатку, а выйдешь из казармы в одном парадном



мундире да с чемоданом в руке. Так и с танком придётся расстаться, как ни привык и ни сжился с ним...

А расставание произошло скоро. Так скоро, что Павел подумать не мог.

Узнав о том, что поисковики нашли и вытащили на болоте танк, глава района загорелся желанием поставить его на районном воинском мемориале, где уж лет сорок стоял гипсовый солдат с автоматом, а на плитах были высечены фамилии солдат, погибших на войне. Танк на постаменте доселе стоял только в областном центре, его открывал сам первый секретарь обкома. А танк в райцентре. Это круто!

Задумано – сделано. Глава района направил куда следует письма с собственноручной подписью и печатью, и дюжиной подписей стариков – ветеранов. Не поленился загрузить свой боевой, оперативный УАЗик и куда нужно отвезти полезным людям дары земли: копчёное сало, сушёные и свежие грибы, ягоды: чернику, голубику, морошку. А кто охоч до этого дела, для тех экологически чистый самогон, снаряжённый в старинную бутылку, четверть. Не для себя же, для народа стараюсь.

Глава района съездил на разведку, самолично убедился: танк в исправности, выглядит отлично, только покрасить его зелёной краской да красную звезду шлёпнуть по трафарету, и будет всё – о, кей!.. В райцентре танк будет на самом месте, возле него как раз митинги проводить: 23 февраля, 8 марта, 9 мая.

– А восьмого-то марта зачем? – спросил губернатор. – Это ж бабий день.

– На фронте бабы и санитарками, и связистками, и снайперами были, – подсказал зам. – Одна даже командиром танка была.

– Ну, ты, молодец, – похвалил его губернатор. – Башка! Разузнай-ко мне про эту, что танкисткой была.

Райвоенком снова предоставил БТР и снова отряд «Память» услышал рёв его двигателя. Павел услышал его первым и предчувствие чего-то нехорошего дагнуло сердце. За БТРом тащился УАЗик главы района. Из УАЗика по-хозяйский первым выбрался глава района, из БТРа райвоенком в привычно зеркально начищенных хромачах, а за ними все остальные...



Все сразу принялись спрашивать о нём. Павел слышал и там и тут вопросы к поисковикам:

– Где Павел?

– Где ваш командир?

– Да тут я, тут, – сказал Павел, выходя из-за танка.

– А мы тебя ищем?

– Чего меня искать. Ну чего надо, – намеренно грубил Паша.

– Здравствуй, Павел, – подал свою бескостную, вялую, как титька у подоенной козы, ладошку глава района, – только на тебя и надеемся.

– Дорогой ты мой Серёжа,

На тебя была надежда.

А теперь, родимый мой,

Нет надежи никакой, – пропел нараспев Павел, чем привёл в немалое смущение райвоенкома: «Чего это с Пашкой? Почему он себя так с главой ведёт. Ведь нормальный парень был».

Глава подошел к Паше поближе, вынул из нагрудного кармана рубахи бумагу и лекторским тоном зачитал постановление главы области о том, что, найденный отрядом «Память» танк марки Т-34, как памятник истории, культуры и техники, передаётся в ведение Загорского района для установки в мемориале, посвящённом Великой Отечественной войне, как память о подвиге нашего народа в той войне.

– Понял? – спросил глава района.

– Понял, – ответил Павел.

– И устанавливать танк будешь ты.

– Да почему я, – воскликнул Павел, – есть же у вас передовики производства.

– Хватит, Ткачёв, кончай, – рассердился глава. – Что тебя, как девку уламывать, садись и поехали. Народ в райцентре ждёт. Каких ты передовиков нашёл в наше время. Одни халтурщики да рвачи. Садись. Глава области узнает, шум будет.

Это был самый весомый довод. Не хотелось, чтоб до главы области дошли какие-то скандальные слухи об отряде.

Павел бросил недокуренную сигарету на болотный мох, тиснул её каблуком, отработанным, незабытым с армии дви-



жением скользнул в танк через люк механика-водителя, включил стартёр, завёл двигатель и тронул танк.

Так они и ехали: впереди он, сзади БТР райвоенкома, автобус битком – набитый поисковиками (всем хотелось увидеть, как наш танк будут ставить на вечную стоянку, как крейсер «Аврора») и замыкал процессию УАЗик главы.

В первые дни, уловив свободную минуту, Павел забирался в танк, сидел в нём, курил, вспоминал армию. Тогда в танке, основательно промытом за многие годы, гулял сквозняк, как в пустом, брошенном сарае, а сейчас в нём запахло жилым: теплом работающего двигателя, слегка выхлопными газами, машинным маслом, сигаретным дымком. Ведь для танкиста в годы войны машина была родным домом.

Сначала Павел вёл машину малым ходом, дорога не разведана, провалишься ещё на болоте, сядешь. Двигатель гудел ровно, в раскрытый люк на грудь в распахнутой рубашке поведал лёгкий летний ветерок, а Павла не покидало чувство, как если бы он вёз коня на мясокомбинат, сдавать его на колбасу. Чувство глупое, нелепое, смешное, какая колбаса из танка, да и вёз он его не на металлолом, Он будет выситься на пьедестале, к нему будут приходить люди, дети читать стихи. Но тебе не будет в него доступа, да и ни кому. Люки заварят, чтобы никто (главное, ребяташки) не мог забраться в него, и будет он стоять один-одинёшенек.

Танк вышел на твёрдую грунтовую дорогу. Опасаться было нечего. Павел включил боевую, третью скорость, танк рванулся и покатил вперёд с максимальной для него скоростью. За ним поспешили было и БТР, и автобус, и Уазик, но сразу отстали: гусеницы, перемалывая грунтовое покрытие, поднимали за собой такой шлейф пыли, что ехать в этом густом, сухом песочном потоке было абсолютно невозможно.

В открытый люк башни синело небо.

Воспоминания о службе в армии, о месячных окружных учениях зимой, когда они дневали и ночевали в танке, дни демобилизации, первые месяцы на гражданке, когда в снах он по тревоге мчался в свой бокс и выводил машину на танкодром, думы о тех неизвестных собратях-танкистах, которые



покинули машину в войну, близкие воспоминания о вызво-
лении танка из болотной жижи, о находке, лежавшей прямо
на снарядах, разбухшей до безобразных размеров книге Тол-
стого «Война и мир», всё слипалось, выросло в душе в такой
тревожный колючий ком, что, как Павел ни старался, как ни
крепился, но при въезде в райцентр заплакал, слёзы пеленой
застилили глаза, не давая видеть дорогу, а сердце его рвало на-
пополам родственное, родимое чувство к железной машине.

«Надо нервишки подлечить. Чего ты разнюнился, как ре-
бёнок. Хорошо, хоть никто не видит, а то ведь стыдоба».

Вот площадь, музыка, масса празднично одетого народа. Вне-
запно из толпы – Павел едва успел выключить главный фрик-
цион – выбежала девушка, бросила на танк букет ромашек. За
ней выбежали другие. Танк, наряженный как жених, медленно
полз по площади. Один из сотрудников военкомата вскочил на
постамент, пятился, показывая направление. Павел, подраба-
тывая то левым, то правым фрикционом аккуратно въехал на
постамент, остановился на самом краю его, высунулся из люка.

Бойцы отряда выпрыгивали из БТРа, перемешивались на
площади с местными.

Вокруг всё гремело «Тремя танкистами», они лились из ре-
продукторов, развешенных на деревьях, на столбах; окружавших
площадь. Кто расстарался, неизвестно, скорей всего, сам глава,
но песня звучала в исполнении лучшего певца, который когда-
либо пел её. Павел слышал, как «Трёх танкистов» пели П. Кири-
чек¹¹, А. Орфенов¹² и другие советские певцы, не пели их разве
В. Ободзинский¹³ да М. Магомаев¹⁴, но лучше всех её пел великий
актёр Николай Крючков в довоенном фильме «Трактористы».

Торжественную церемонию открыл зам областного главы
по культуре. Весь аккуратный, гладкий, даже как будто облиз-

¹¹ Киричек П.Т. (1902–1968), советский певец, баритон, солист ГАБТа, много-
летний исполнитель песен во время демонстраций на Красной площади.

¹² Орфенов А.И. (1908–1987), советский певец, тенор, солист ГАБТа.

¹³ Ободзинский В.В. (1942–1997), советский певец, тенор, эстрадник.

¹⁴ Магомаев М.М. (1942–2008), советский певец, баритон, эстрадник



анный, и говоривший так округло, обтекаемо, что понять было трудно рад он появлению танка, или по демократическим воззрениям скорбит, что символ тоталитаризма будет... Районного главу порадовало то, что зам. областного главы отметил, что в других райцентрах такого нет. По-военному решительно и энергично выступил райвоенком. Завершил выступления старик-ветеран, участник Курской битвы.

Павел, покидая площадь, огляделся, не видит ли кто, и низко поклонился танку. Где-то недалеко заиграла гармонь и вечернюю тишину взбудоражило:

Броня крепка, и танки наши быстры.
И наши люди мужества полны.
В строю стоят советские танкисты....

На окраине райцентра его догнали Петя и Валя. Восторженно обсудив события минувшего дня, Петя предложил спеть какую – нибудь строевую песню. Спели, потом другую, третью. И пели до самого лагеря, а было до него от райцентра не меньше полутора десятка километров. Их слушало всё болото, все земноводные и пресмыкающиеся, обитавшие на нём, лягушки, гадюки и ужи, и все болотные, примолкшие на ночь птицы, слушали строевые, пионерские и комсомольские песни. На болоте их ждал весь отряд. По случаю радостного, как сказал Павел, великого события, из НЗ было извлечено вино. Только начавшее вставать солнце водворило в палатках покой и сон.

XVII

Роман взял в саду Сашу, принёс с колонки два ведра воды, сидел на скамье у стены дома и курил. Раньше о своей квартире, когда его спрашивали, где он живёт, он любил говорить с усмешкой: «Не знаю, что сказать. У одного негра спросили: как он может жить в трущобе, в которой нет ни телефона, ни водо-



провода. Но я не считаю свой дом трущобой, хотя в нём нет ни того, ни другого, и я уверен, что их никогда в дом не проведут. И не я же один, тысячи так живут.» Раньше Роман гордился ответом, вернее тем, что его можно было назвать антисоветским, и он не боится говорить это. Сейчас его антисоветчина даром была не нужна. Да ему, в конце концов, нравился его дом. Потому что он деревянный, и потому что он старинный. И, вообще, настроение у него было превосходное, на работе всё следовало по графику, бригада Думенкова закончила бетонировать канализационный жёлоб, Вовка Беляев вышел на 28-й метр трубы, Надя дохаживала последние недели, анализы все отличные, близится к концу рассказ, который он на следующей неделе понесёт к Внукову...

Во дворе в песке играли малые дети, ребята постарше играли в прятки, в 12 палочек. По Калинина проезжал поток автотранспорта (от тяжёлых КРАЗов старый дом вздрагивал, прислонившись спиной к стене, Роман ощущал содрогание), сигаретный дым медленно таял в вечернем нагретом воздухе.

– Роман, можно? – перебил его блаженное ничегонеделанье робкий голос.

– А, Вениамин, это ты. Садись, конечно. Чего спрашиваешь, скамейка не моя собственность.

– Но ты имеешь на неё больше прав.

– Что-то ты со мной по- юридически рассуждать начал. Как жизнь-то у тебя?

– А худая у меня жизнь, Роман. – Вениамин сел рядом, посмотрел на него своим полубессмысленным взглядом, казалось, ничего не выражавших глаз. – Хоть бы ты мне помог. Да не поможешь, нет, власти у тебя нет такой.

– Что с тобой, Вениамин, – Роман бросил сигарету, весь повернулся к соседу, – Что с тобой? Никогда я от тебя таких слов не слышал. Обидел тебя кто?

– Если б обидел, стерпел бы я, жизнь инвалидская такая – терпеть. Но жизнь мою, Роман, ломают. На работе сокращают меня. Невыгодно, говорят, меня держать на работе, никакой



прибыли. Законы рынка. Я не понимаю, а раньше-то мы без рынка, что ли, жили?

– И куда ты пойдёшь?

– Да некуда идти, брат Роман. Одна дорога для таких как я: в Дом инвалидов. Давно меня туда загоняют. Не сдавался я, держался из последних сил. Много ведь нас по Союзу.

– Так это хорошо. Там крыша над головой, тебя накормят, врачебный уход, что плохого?

– Но здесь я свободен, а там почти раб.

– Раб. По – моему, ты преувеличиваешь.

– Ни капли не преувеличиваю. Там в одиннадцать ночи двери запирают, и сиди до утра под замком. А я, может, хочу на берегу речки посидеть, посмотреть на звёзды, на воду.

– Да-а...

Роман по простоте, о которой говорят, что она хуже воровства, едва не ляпнул: неужели ты смотришь на звёзды, но прикусил язык. Он так привык за долгие годы соседства к тупой, как ему думалось, ничего не выражающей физиономии Вениамина, что поддался тому чувству, присущему большинству людей: прекрасное, тонкие чувства испытываю только я, окружающие лишены этого.

Желая хотя бы этим жестом извиниться перед Вениамином, он сжал его руку выше кисти и сказал:

– Извини, я об этом как-то не подумал. Извини.

В самом деле, если словами начнёшь объяснять причины своей реплики, то ещё сильнее оскорбишь, обидишь его.

– Подумай сам, – придвинувшись почти вплотную к Роману при чём изо рта у него пахло и всё тело издавало запах чего-то потного и неопрятного. – Каково мне.

– Ты же не унывай, Веня, – попытался подбодрить его Роман, – Уныние это страшный грех

– Тебе, Роман, легко говорить, – нимало не ободрившись от его слов, отвечал Вениамин. – У тебя жена, сынишка, бойкий паренёк. А что я? Живу как лопух на пустыре. Умру, никто и не вспомнит. Кому какое дело до лопуха. А ещё худо в инвалидном доме, когда бывших эков поселят. Где, Роман, справедли-



вость: всю жизнь он воровал, по тюрьмам слонялся, а на старости в дом инвалидов его, на государственный счёт. А замашек своих тюремщических он не бросает. Надо, чтоб мы ему служили, за водкой бегали. А я, может, не хочу. А он кулаки свои под нос мне суёт. Мне говорят, дай ты ему в рожу. А как я человека по лицу ударю. По голове. В ней же мозги, в ней мысли.

– Какие там мысли, – пошутил Роман. – Как в анекдоте: один кост.

Из-за угла дома выскочил с диким криком грязный (где он перемазался так) Саша и принялся рубить лопухи и крапиву, только летели в разные стороны клочки лопушиных листьев и обломки стеблей крапивы. К нему присоединились его дружки, соседские братья Лёша и Вася Пановы. Сеча пошла в три руки. Роман устал от жалоб Вениамина. Ему было жаль его, но не хотелось копаться в душе, в своих переживаниях, хотя, если он мечтал стать писателем, без этого не обойтись. Разговор с Вениамином становился неприятен ему, докучен, а как оборвать его, не придумывалось.

– Бей!

– Руби! – весело кричали ребята, обычно воевавшие с лопухами обструганными палками, а сегодня...

– Саша, Саша, – позвал Роман сына. – Что это у тебя? Покажи.

– Меч-складенец, – сын подал оружие, которым сёк лопухи.

– Не складенец, а кладенец. Не от слова «складывать», а от слова «класть». Богатырский меч кладёт врагов, – объяснял Роман, даже ужаснувшись в душе, где мальчишка взял этот нож. – Роман измерил его пядью, получалось две с половиной пяди, это полметра. Римские гладиусы были такими. Это был нож, какими в не столь далёкие годы были вооружены все продавцы в магазинах. Такими ножами резали всё: хлеб, мясо, сыр, колбасу, сливочное масло. Правда, нож был без ручки, деревянные плашки справа и слева внизу клинка отсутствовали.

– Пойдите, стойте, – прошептал Роман, повернув клинок, чтобы солнечные лучи падали на него наискосок. На тёмной поверхности осветились вдавленные буквы: Solingen.



– Это ж музейный экспонат. Золингенские клинки славились по всему миру. Этому ножу более ста лет. Где ты его взял? А ну-ка, вы, дайте сюда. – Роман, взяв ножи у Лёши с Васей, увидел, что и у них ножи того же происхождения. – Ну, дела, – вскрикнул он, – в конце двадцатого века по улицам советского города разгуливает малыш с золингенскими ножами. Ножищами!

Выяснилось, что на углу Калинина и Урицкого ломают одноэтажный деревянный дом.

– Прости, Вениамин, – сказал он, – схожу с ребятами, посмотрю.

Вениамин долго смотрел вслед Роману, переходившему с детьми оживлённый перекрёсток, и лишь когда увидел их на другой стороне улицы, чему-то улыбнувшись, побрёл в свою каморку.

Вениамин был инвалидом детства и сполна (даже излишка) хлебнул лишений, какие выпадают людям его положения. Родителей своих он не помнил, они умерли, когда ему минуло три года. Его вырастила бабушка, мать отца, работавшая уборщицей, стиравшая чужое бельё, вязавшая носки, ушивавшая одежду. Уже взрослым, Вениамин, вспоминая её, не знал, когда она спала. Она трудилась за четверых круглые сутки, чтобы её родимый Венечка был сыт и ни в чём не нуждался. Но Вениамин уже в младенчестве понял, что он не такой, как все дети, и это постоянно уязвляло и травило его душу. Он с детства был больным, и его болезнь нельзя было излечить: у него была вывернута в бок правая стопа и нога не гнулась в колене. Он всю жизнь был обречён тащить правую ногу. Сверстники его играли в прятки, в вершки, а он смотрел на них, сидя на крыльце. Уродство телесное отозвалось на его умственном развитии, он долго не мог научиться читать, плохо запоминал, медленно отвечал на вопросы. Но он очень старался учиться, ни разу не остался на второй год и противился переводу во вспомогательную школу. Мальчишки, дворовые соседи, в детстве просто насмехавшиеся над ним, подростками стали дразнить его, подстраивали злые, больные шутки, зная, что он не может отплатить обидчику. Однажды они подло поступили с ним. Они собрались выпить, денег у них не было. Они позвали Вениамина, сказали ему, что



скидываются и его зовут. Вениамин не увлекался вином, он обрадовался, что они берут его в компанию, отдал им почти всю свою пенсию инвалида, они купили вина, напились, а его не позвали. Он сказал им: «Ребята, это же не честно, мы же друзья». Ему ответили: «Пошёл вон, урод. Нашёл друзей».

Когда Вениамину исполнилось шестнадцать лет, он получил паспорт. Бабушка отчего-то не обрадовалась этому, обняла его за голову и заплакала так сильно, что слезами своими вымочила ему волосы на голове.

– Родной мой, голубь ты мой сизокрылый, – причитала она, – на кого же ты, золотко моё, останешься без меня. Был ребёнок, а теперь паспорт получил, мужчина ты.

– Бабуля, дорогая, – успокаивал он старушку, – ты бы радовалась, что внук твой вырос, а ты плачешь. Живи долго, ты меня не оставишь, и я тебя не оставлю.

С большим трудом, потому что приходилось много запоминать, Вениамин закончил курсы киномехаников, бабушка похлопотала, и он устроился служить в Дом офицеров. Работником он был исполнительным, безотказным, с охотой соглашался подменить кого-нибудь на месте вахтёра, что-то принести, приколотить и т.п. Ровесники его, отслужив в армии, работали кто слесарем, кто монтером, кто шоферил. Некоторые погибли по пьянке, один, поскользнувшись, упал с берега в реку и захлебнулся, тут его у берега и нашли; другой в сильный мороз заснул на улице, отморозил лёгкое, ему его отняли и через полгода он умер. Узнавая об их смертях, Вениамин говорил себе: «А я живу». Но недавно начальник дома офицеров сказал, что его должность сокращается. Поэтому с грустью и тоской смотрел он вслед переходившим улицу Роману с детьми. Неужто придётся покидать родной дом, расставаться со всем, к чему привык, с чем сжился, что и было самой жизнью.

Роман уже знал, куда они идут с Сашей и его друзьями. Он помнил этот дом, соразмерный, почти квадратный в плане, обшитый в простенках «в ёлочку», потемневший от старости. С тротуара было видно, что в большой комнате дома висит



старинная с зелёным стеклянным абажуром керосиновая лампа. Нафантазив в душе, что в доме этом хранится какая-то тайна, в детстве он с замирающим сердцем, с холодком по спине, с благоговением проходил мимо него.

Рядом с домом, осеняя его своей шатровой многолиственной кроной, рос могучий, в три или четыре обхвата тополь.

Года два назад Роман услышал захлёбистый, прерывистый вой и треск бензопилы, доносившийся до самого его дома. Вскочив на велосипед, ещё греемый надеждой, что, быть может, он ошибся, он примчался сюда. Тополь валили в две пилы. Урчал тут и автокран с выдвижной стрелой, спускавший на тросах отпиленные крупные ветви. Шепча ругательства, Роман смотрел на убиваемое дерево, бессильный чем-то помочь ему.

Теперь дошла очередь и до дома.

Стёкла в доме были все выбиты, рамы изломаны. Входная дверь была заперта. Окна были такие большие, что в любое можно было заходить, не нагибаясь. Роман с тротуара шагнул в дом.

Внутри дома всё было перевёрнуто, раскидано. На полу валялись рваные тряпки, старые газеты. Никакой тайны, всё разломано, брошено, поругано.

А когда-то тут жили люди. Кого-то ждали в этом доме, получали из дальнего края письма и отвечали на них. Кто-то шёл в него, летней ночью с вокзала, возвращаясь из дальней поездки, со службы в армии, в дом, где ждут его и печалются. А. может быть, человек шёл сюда с пристани, с парохода, прибывшего ночью. И дом расцветал, наполнялся светом, радостью, улыбками, громкими разговорами, песнями. Целый мир, цивилизация, вселенная обитали в этом доме. И вот ничего нет. Только пустота, грязь и разор. Сюда счастливая мать приходила из роддома с ребёнком, а в дореволюционные годы из дома, из дома, а не из морга человека в гробу выносили в последний путь.

Роман ходил по пустым, грязным комнатам. Люди уехали и из дома вынули душу. Не жилой, не живой дом.

– И где вы их нашли?

Ребята провели его по комнатам, в заднее крыльцо, чёрный ход. Под лестницей стоял высокий ларь. Откинув крышку,



Роман пошарил там рукой, и обнаружил пачки писем, перевязанные бечёвкой.

– Ты говорил про какие-то книги, – спросил он Сашу.

– Вот здесь, – сын провёл его в угловую комнату, где стояла железная койка с наброшенным на пружины матраца ватным одеялом. На стене обложка майского Огонька с фотографией Красной площади. Чьи-то рисунки цветными карандашами. Справа в углу небольшой стеллаж. Впервые Роман увидел книги Леонида Андреева, Вересаева, Бальмонта, которые печатались журнальными выпусками определённого объёма и поэтому один том (сейчас никто бы не назвал томами эти издания в мягкой обложке на дешёвой бумаге) мог закончиться, скажем, на 122-й странице, а следующий начаться не с 1-й, как мы привыкли в советское время, а со 123-й. На полке учебник географии 1870 года издания с изображением Лиссабонского землетрясения на титульном листе. Роман набил книгами взятую из дома сумку. Между книг в конверте из плотной бумаги он обнаружил фотографии. Не разглядывая (дома, дома!), он и их отправил в сумку.

Книг и писем он натолкал в сумку столько, что сумка раздулась и стала похожа на большой шар. Всё, надо идти, а то ещё кто-нибудь из старых хозяев зайдёт сюда.

До поздней ночи Роман разбирал свои сокровища, раскладывая по порядку книги, отклеивал марки с конвертов. Читая адрес на дореволюционных конвертах, он умилялся старому дореволюционному названию улицы, его невольно поразила и умилила мысль, что его ещё не было на свете, а в этот дом приходили письма. В Тиховодске жили и до него люди. Эта очевидная, естественная мысль пришла к нему от этих писем.

Озорники-мальчишки, походя заглянувшие в дом от нечего делать, спасли три ножа, а сколько неоценимого добра (люди при переезде выбрасывают всё ненужное, а ему цены нет) из таких домов вывозится на городскую свалку.

И никому нет дела до истории, до памяти о сотнях, тысячах людей. Умрёт старый человек, и всё, что с ним связано, засунут под лестницу, а то вынесут на помойку. Почему бы над этим не задуматься музею, там хоть сохранится. Но в музее



скажут: у нас свои заботы, недосуг нам пустяками заниматься. Тогда городские власти создали бы такую службу, но кому там это нужно? Таким, как Пармен Ломакин? Да они не то, что думать, даже плевать на историю не хотели.

Доставая одну за другой фотографии из конверта, Роман вглядывался в лица давно умерших людей. А то и погибших. На некоторых фотографиях были запечатлены события войны. С первого взгляда он подумал: Великая Отечественная, но форма на солдатах и офицерах была иная. На одной карточке сняты солдаты, лежащие на снегу, на них знакомые серые длинные шинели, но на головах папахи. Это первая мировая война.

Книги, письма, журналы, фотографии были посланцами из той, былой жизни. Шагнув в окно, он словно шагнул в историю.

Дневной разговор с Вениамином, впечатления от брошенного на погибель дома мешались в голове Романа, как писал Пушкин, с первыми видениями первосония. Ему было жалко Вениамина, как дом, и дом как покинутого человека, который не может высказать свою боль и тоску от сознания своей брошенности и сиротства. Засыпая, ему думалось, что начнут с деревьев, перейдут на дома, а закончат людьми.

Если бы не было людей, которые любят старину, как скучна и бледна была бы наша жизнь. Всё вокруг было бы только новое, ничто не вносило в жизнь аромата испытанного благородства, ничто не шептало бы сердцу о прошлом. Как возвышает душу достойная, сохранённая старина.

Роман долго ещё вспоминал, обдумывал и переживал минувший день, слышал, как за окном бушует гроза, озарявшая комнату всплесками молний, как грозу сменил нудный и монотонный дождь и уже глубоко за полночь к нему пришёл желанный, без сновидений сон.

XVIII

После великих потрясений, поколебавших саму его жизнь, народ наш жил по привычке, по инерции. Жил биологически,



умственный, духовный, мечтательный стержень был вынут из бытия, и люди жили потому, что не жить нельзя. Народ без вождя не знал, что делать, смотрел на всё со стороны, и ждал, что из этого получится.

В таком состоянии неустроенности души, раздёрганности воли случается у великих народов временное помутнение мирозерцания. Люди вдруг потеряли ясный взгляд на вещи и явления, увлеклись несбыточными мечтами, которые опасны для душевного бытия народа. Люди отринули свойственную русскому народу любовь к своему, родному, отдавали предпочтение чужому, пришлому, привозному.

В начале 90-х годов в народе зародилась не соответствующая истине, не основанная на доказуемых фактах идея симпатии к Америке. Люди сочинили в своих головах никогда не существовавшую Америку как обитель доброты, справедливости и человечности.

Люди не хотели помнить (или не знали), что история Америки началась с поголовного истребления коренного населения материка, столетиями жившего в ладу с природой. Но явились белые поселенцы и принялись сживать со света сотни тысяч мужчин, женщин и детей. От десятков индейских племён остались лишь одни имена, носители имён истреблены огнём ружей, уморены голодом, уничтожены с помощью заражённых оспой одеял.

Америка платила России только злом. Россия стояла на стороне борьбы американцев за независимость в XVIII веке, на стороне северян в гражданской войне, а Америка, воспользовавшись затруднительным положением России, отхватила у ней полуостров Аляску, в гражданскую войну XX века Америка, как могла, вредила молодой стране Советов, а потом страдала и пыталась выкручивать руки 14-ю пунктами Вильсона. Красная армия раньше срока перешла в наступление, чтобы помочь американцам, которых немцы громили в Арденнах, а Америка вскоре после войны планировала против СССР атомную войну. Америка была первой и единственной страной в мире, которая испытала ядерное оружие на мирных жителях,



американские самолёты поливали напалмом Вьетнам, и люди горели, как живые факелы, а на вьетнамских землях, обработанных дефолиантами, и сейчас ничего не растёт.

Только помутнением национального чувства можно объяснить появление в центральной газете такой заметки: «Свободная, процветающая и демократическая Россия, – печатала газета, – примирившаяся, наконец, со своим народом, со своими соседями и с миром в целом, – это одна из самых важных геостратегических целей Соединённых Штатов Америки».

Нелепица этих слов очевидна.

Как может Россия примириться со своим народом, если народ это и есть Россия. Автор принимает Россию за какую-то злобную ведьму, которая только и знает, что ссорится со своими соседями и со всем миром. И когда это Америке была нужна процветающая Россия? Когда ей был нужен конкурент в экономике, в политике. Если говорить начистоту, слабая, разорванная на куски, охваченная непрерывными войнами внутри самой себя Россия, вот желанная цель Америки.

Внуков подобное помутнение умов называл головокружением от демократии... Оно принимало различные формы. Оказалось, что вокруг все друг друга любят, всюду царит мир и дружба. Начальник Генерального штаба, человек в звании генерала армии, оглушил всех новостью, что у России нет врагов. Здравомыслящие люди сразу подумали: зачем тогда нужен Генштаб и такие генералы? Очевидно же, что у России с её несметными богатствами враги были, есть и будут.

Результаты демократического головокружения Внуков изведаль на международном уровне.

«В порядке налаживания международных контактов в аспекте новых демократических взаимоотношений» Пен-клуб пригласил делегацию российских писателей в Рим. Приглашён был и Внуков. Викторин Андреевич долго издевался над автором приглашения, которое вне сомнения писала какая-нибудь апеннинская морёная пиния.. Однако смех смехом, а нормальный человек от даровой поездки в Рим не отказывается. Внуков ждал поездки,



усердно готовился к ней: перечитал учебники по Древнему миру, путеводители, рассматривал альбомы. Развернув на столе карты Рима, из квартиры на ул. Ленинградской он уносился мечтами в Рим, на императорский форум, где пролилась кровь Цезаря, гулял по вилле Адриана в Тибуре, взирал на колонну Траяна..

Анна Григорьевна попросила привезти ей каких-то духов.

– Ты что, мать моя, – попенял ей Внуков, – меня Пётр просит передать привет Юлию Цезарю в музей римской цивилизации, зайти в Пантеон, поклониться Марку Аврелию, бросить монетку в фонтан Треви. Да ещё заседания какие-то предстоят. Чую, не добром кончится наше путешествие, потребуют римские и прочие буржуи от нас плату за бесплатную прогулку в Рим и за выпивку на берегах Тибра. Но душу я им свою не продам.

Мечтам Внукова не суждено было сбыться. Экскурсия, конечно, числилась в программе встречи, но чичероне, молодая макаронка в подсолнухового цвета брюках на тощем заду и причёской хвостом трещала, как из пулемёта РПД: посмотрите направо, т-р-р-р-р, посмотрите налево т-р-р-р-р, заходим скорее в автобус, времени в обрез. Викторин Андреевич покидал *divom domus aurea Roma*¹⁵ с оплётанной душой. Конечно, что-то удалось посмотреть, но толком ничего не увидел, всё урывками, не дотронулся до стены Капитолия, не увидел стену Аврелиана.

Но хуже того до злобы удручало его поведение сотоварищей по делегации. Их радость, даже удовольствие подпевать любой русофобии, любой клевете и злобному вранью на советскую страну, выводили его из себя, поднимали в груди вал кипящей, готовой броситься с кулаками злобы.. Что сделалось с людьми? В самолёте, пока летели из Москвы в Рим, говорили одно, а сейчас другое.

Он не хотел участвовать в шабаше, на большинстве мероприятий сидел, угрюмо помалкивая.

Когда же корреспондент *Messaggero Vaticano*¹⁶ спросил, почему он молчит, он ответил, что ещё на фронте принял

¹⁵ Обитель богов, Рим золотой (лат.)

¹⁶ Вестник Ватикана



присягу и ради непонятных и неприятных ему политических игр, изменять ей не будет. Когда переводчик перевёл его слова, в зале пресс-конференции зашумели. Больше к нему никто не подходил, ни о чём не спрашивал. Как будто он умер.

Когда делегация возвращалась в Москву, кто-то, кажется поэт Груздев, упрекнул его, что он не дипломат. Он вскочил в кресле, распахнулся, назвал всех холоуями. И крикнул, что он не любит толпу. Он признает одну толпу – роту, развёрнутую в стрелковую цепь или построенную для парада.

Стюардесса бежала к нему по проходу, заламывая руки, умоляла молчать.

А вскорости после Рима не менее честолюбивая компания московских писателей отправилась в Америку. Их встречали там, как аборигены некогда встречали матросов Колумба. От них ждали новых слов, высоких мыслей. А слова и мысли были такими обычными, как горы пельменей и литры виски, съеденных и выпитых ожидавшимися матросами. Ничего нового не было сказано. На всех встречах и застольях звучала заурядная, опротивевшая, быть может, и самим американцам, протухшая антисоветчина.

Повергало в глубочайшее недоумение, соединённое с омерзением и жалостью, полное отсутствие самостоятельности, любви к Отечеству и гордости за него. Как будто в Рим, в Америку прибыли люди из пустыни, в которой тысячу лет ничего не происходило. Приехали необразованные дикари, которые во что бы то ни стало жаждут понравиться местным, чтоб их похвалили, погладили по головке.

Оставалось уповать, что Бог вразумит народ, понудит его одуматься, вернуться к самому себе, к своей вере, истории, к земле. Как долго ждать возврата, но «претерпевый же до конца, той спасен будет». (Мф.10.22)

Жена Романа Надежда родила девочку, называли её Сонечкой. Саша первые дни через каждые десять минут прибегал смотреть на неё, удивлялся, что она совсем не растёт, но больше всего, что она не умеет говорить. Ранней осенью Сонечка спала



на улице в коляске. По кисее, брошенной на коляску ползла божия коровка. Соня внимательно следила за её движением.

– Сонечка, – решив поучить её говорить, сказал Саша. – Скажи: божия коровка. Это же просто, смотри на меня, как я говорю: божия коровка.

Соня нахмурила чистый лобик, замахала правым кулачком, принялась сосать его.

– Трудно тебе, – сочувственно вздохнул Саша, – Скажи просто: жучок.

На здании областной администрации (её переименовали в областное правительство) трудовой герб СССР заменили двуглавым орлом.

Между тем за первыми ноябрьскими морозами, за праздничной ёлочной мишурой, в запахе хвои, в сверканье гирлянд и бенгальских огней подбирался новый 1993 год.



ГОД ТРЕТИЙ



Смута



Лети на станицу, родимой расскажешь,
Как сына вели на расстрел.

—

Не хочется думать о смерти, поверь мне.
В шестнадцать мальчишеских лет.

Я. З. Шведов. Орлёнок.



I

Новый 1993 год Внуков пригласил встретить Животова с женой и, само собой, с Петей (а Петя пришёл с Валею), позвал писателей Петряева, Липовицкого, Харина, Половодина, Широкова, всех с жёнами, собралось около двадцати человек. Внуков любил многолюдные компании, встречал каждого гостя на лестничной площадке, заводил в прихожую, сам раздевал, размещал одежду на вешалке. В большой комнате всех ждал сюрприз. Обычного новогоднего стола с бутылками, вкусным, при виде которого во рту копилась слюна, угощением не было. В центре комнаты стояла ёлка. От самой пятиконечной звезды на верхушке на четыре стороны расходились полотна ткани защитного цвета (ткань Внуков добыл через облвоенорг).

– Добро пожаловать в нашу фронтовую плащ-палатку.

Гости, не предупреждённые о сюрпризе, опускались на колени, залезали в палатку, ворча на неудобства, хотя в душе были рады фантазии хозяина: будет, что вспомнить и рассказать. Особенно недовольна была Маргарита Широкова, надевшая узкое платье.

– Что мне раздеваться, в самом деле? – говорила она.

– А это было бы неплохо, – под общий смех, сказал Внуков, – Мы солдаты – фронтовики на фронте изголодались.

– Да ну Вас, Викторин Андреевич, – махала рукой на него Маргарита.

– Это кто сказал про моего Внукова «ну Вас», – вступилась за мужа Анна Григорьевна.



Наконец, все расположились под ёлкой. Места хватило всем, только было непривычно пить и есть, полулёжа и лёжа. Фронтовым солдатам было, конечно, всё равно, солдат, как известно под луною греется и шилом бреется, а гости оделись на праздник в пиджаках, в рубашках с галстуками, а про женщин и говорить нечего. Однако все приспособились и выпивать и закуску на тарелки накладывать.

– А удобно, – сказал Иван Дмитриевич Половодин, – кто лишка позволит, тут и кимарнуть можно.

– Без отрыва от производства, – сказал Животов.

– У всех налито? – спросил Внуков в отличие от всех сидевший на пенёчке под ёлкой. – Так я встречал 1943-й год. Хочу с вами, родные мои, выпить за прошедший старый год, проводить и помянуть его добром. Прошло в нём много хороших событий. Нас порадовал приезд Святейшего. Стране нашей, конечно, трудно, но, видать, у России планида такая. Слава Богу, никого не убили, обтерпимся, оживём. Ну, по сто грамм наркомовских, но чур, – не напиваться.

– Есть такой армейский анекдот, – когда все чокнулись, выпили и закусывали, – сказал Ширков. – Старшина учит солдат в казарме. Товарищи солдаты, я сам молодой был, понимаю. Можно выпить в увольнении. Ну выпил литр, выпил два, а зачем же напиваться?

Все захохотали.

– Я что-то не понимаю вас, ребята, – сказала Анна Григорьевна. – вроде бы праздник, собрались, выпили, среди нас поэты, а все говорят прозой.

– Верно, Анята, – подхватил Внуков, – вот где сказалась мудрость Советской власти, давшая женщине, прозябавшей в рабстве у мужа, свободу слова. Ну-ко, пииты, просыпайтесь, потешьте нас своими перлами. Шурка, ты первый.

На колени поднялся Александр Петряев, поэт, прославленный не только в Тиховодске, но и по всей России. С открытым русским лицом, с кудрями волос, зачесанных на затылок, с улыбкой, поминутно скользившей по его губам и показывавшей, что этот человек не способен ко злу, он производил впечатление



чатление древнего оратая, пахаря, былинного Микулы Селяниновича.

– Извините, что я встал, – мило улыбнувшись, сказал он, – не привык читать лёжа. Простите, если мои стихи не носят праздничного оттенка, жизнь у нас такая, ни о чём ином не думается и не пишется.

Стали нищи мы и наги, – читал Петряев, –

Стыдно: чью-то помощь ждём.

Где же русский взлёт отваги,

Всенародный наш подъём?

– Декадентщина какая-то, упадничество, – насмешливо сказал Внуков, – А как же заветы соцреализма? Где положительный герой? Кто у нас в декадентах-то ходил?

– Гиппиус, Ходасевич, Сологуб, – подал голос из-за ёлки Петя.

– Вот, вот, – сказал Внуков, но ему возразила жена Петряева Ася. Она сказала, что стихи хорошие, никакого упадничества в них нет, а наоборот призыв к борьбе, к сопротивлению. Её поддержали другие жёны. Шум поднялся как на митинге на заре перестройки.

– Жития святых по законам соцреализма написаны, – сказал молчавший доселе Харин.

– Ну ты, Вася, сказанёшь, – возразил Внуков. – Когда жития твои писались, и слова-то социализм, – Внуков сделал упор, – не было.

– Не слова, а понятия, – уточнил Харин, – но метод был, показ того, что положительный герой вопреки всем невзгодам, испытаниям добивается своей цели, одерживает победу, не предаёт Христа, жертвуя даже жизнью.

– Что за народ, писатели, – сказала, зевнув, Маргарита, – и не напьются, и напьются разговор об одном – о литературе.

– Как товарищ Сталин сказал: других писателей у меня нет, – ответил Внуков, – ешьте таких, каких имеем. И что за тон, кто это у нас напился. Поднимите – ко руку, кто напился? Видишь, Марго, ни одной, так что не клеветчи.

– За клевету мы можем и в суд подать, – сказал Липовицкий.



– Витя, – сказал Внуков, – возрази своему дружбану на его упадничество. Прекрасно однажды..

Липовицкий, забыв, что он в палатке, вскочил на ноги, подняв головой полотно. Невысокого роста, но ладный, коренастый широкоплечий, с окладистой чёрной бородой, красиво облегавшей его полное лицо, со стопкой в правой руке, он выглядел добрым молодцем из русских сказок, хватом, которому всё ни по чём, ни даль земная, ни пучина морская, ни высота поднебесная.

– Ну, хорош, ну хорош, – восхищённо шептал Внуков.

Липовицкий, любивший (и умевший) читать свои стихи, отвёл правую руку и прочитал одно из своих коронных стихотворений, которое всегда просили читать его поклонники на творческих вечерах:

Прекрасно однажды в России родиться
Под утренний звон золотого овса!
Твоё появление приветствуют птицы,
Сверкают, на солнце искрясь, небеса.

Последние строчки были покрыты аплодисментами.

– Вот это по-нашему, по-советски, по-русски. Пусть враги наши знают, что в России родиться, русским быть – это прекрасно. Как Александр Васильевич, незабвенный генералиссимус наш говорил. Горжусь, что я русский. Господа офицеры, какой восторг! Молодец, Витя. Утешил, – Внуков обнял Липовицкого за плечи, жарко, но со смешком ввинтил ему в ухо шёпот. – А с декадентом ты больше не пей.

Виктор, вырвавшись из объятия Внукова, ударил себя ладонями по коленям, захохотал:

– Вы знаете, что он сейчас сказал, знаете. Чтоб я с Санко больше никогда не пил.

– Этого не может быть, – сказал Половодин.

– Не слушай его, шептуна, – сказал Петряев и чокнулся с Липовицким..

Все засмеялись.



– Друзья мои, – сказал Внуков. – У всех налито. Я предлагаю тост за поэтов. Саша и Виктор мои давние друзья, поэты, известные всей России. Люди немного свихнутые, как и полагается поэтам. Это мы, прозаики, люди степенные, уравновешенные..

– Знаем мы вас, уравновешенных, – вклинилась Анна Григорьевна.

– Одно из непростительных завоеваний советской власти, – продолжал Внуков, – это предоставление женщинам права голоса. Долго я на этом останавливаться не буду, самому дорожке выйдет. А поэты – люди особенные, они украшают нашу жизнь и делают её более осмысленной и удобной для обитания в ней.

За выпивкой, стихами, весёлыми хмельными разговорами, шутками как-то пропустили телевизионное выступление и хватились, когда уже били куранты.

– Да чего его слушать, – сказал Внуков по поводу говорившего в телевизоре человека. – ничего дельного он не скажет, обычное словоёрзанье. А куранты, это вечное, как «Капитанская дочка», как Саардамский плотник. С новым годом вас, дорогие товарищи. Михаил Афанасьевич, великий писатель, он многих наших прижизненных советских классиков убил.

Гости угощались, закусывали, разговаривали, смеялись, рассказывали анекдоты, все отдыхали, развлекались. Одной Анне Григорьевне не было покоя, ни минуты отдыха, надо было разносить горячее.

– Впрочем, хватит пить, пора петь, – сказал Внуков и первый запел «Вечер на рейде».

Празднованье продолжилось по русскому обычаю пением, пели все и завязтые, известные всем певуны: Внуков и Ширков, показал себя неизвестный доселе компании Петя. Пели часа два не меньше, пока не перепели почти весь советско-русско-народный фольклор. «Споёмте, друзья» сменили «Три танкиста», за ними последовала «На позицию девушка», за ней последовала «Враги сожгли родную хату», «Тонкую рябину» заслонил дружный хор «Ревела буря», и поскольку буря



ревела, то и голоса делали то же самое. Много было спето от «Этапа на север» до «Берёзки и рябины», и, когда в пятом часу утра все расставались, то ещё пели и на лестничной площадке.

– А полковника КГБ Животова попрошу остаться, – провозгласил Внуков, – срочное дело.

Многие глупо, потому что выпито было «под завязку», засмеялись, хотя смешного ничего не было.

– Витя, Витя, – упрашивала Анна Григорьевна, – пусть Володя идёт. Уже поздно.

– Сейчас он уйдёт, у меня к нему дело, – упорствовал Внуков.

– Я с тобой разговаривать больше не хочу, – обиженно говорил Владимир Степанович, – что тебе полковник дался. Я тебя уже просил, шути за свой счёт, а за мой я тебе запрещаю.

– Дак я про то давно забыл, как выражался герой баллады Александра Трифоновича. Что ты какой злопамятный. Иди за мной, я тебе что-то покажу.

Внуков провёл Животова в большую комнату, сел за пианино и указательным пальцем правой руки уверенно, ни разу не сбившись сыграл балладу Томского, напевая:

– Если б милые девицы так летать могли б как птицы...

Животов изумлённо слушал и внимал. Триумф был бы полный, но с кухни прибежала Анна Григорьевна, захлопнула крышку инструмента.

– Да ты что, – вполголоса кричала она, – в своём уме? Думаешь новогодняя ночь, так всё можно. Люди-то внизу спать уж легли.

– Ну, Анюта, я только показать...

– Ложись, проспись, и показывай.

– Но поговорить-то нам никто не запретит, – сказал Внуков, провожая за локоть Животова в кабинет.

– Вот ты говоришь, что я чужое повторяю, – говорил он, а я сделал открытие. Я при всех не стал говорить, им это не интересно. Скажут, позвал Новый год праздновать, а угощает разглагольствованиями об опере. «Пиковая дама» это опера о предательстве и о возмездии за него. В ней все друг друга предают. Лиза предала Елецкого, бабушку. Чекалинский с друж-



ками предали Германа, дразня его. Бабушка предала тайну Сен Жермена. Полина предала Елецкого, ничего не сказав ему про Германа. И, наконец, самое страшное предательство, Герман предаёт любовь ради денег. Не предают только Прилепа и Миловзор.

– Слушайте, Миловзоры, – сказала, входя в кабинет, – не пора ли спать. А то я рассержусь.

– Сердиться-то мы и сами умеем, – подмигнув другу, сказал Внуков, обняв его за плечо, шепнул: – Прости, – и громко добавил, – Но всё-таки каково завоевание Советской власти.

II

Новый 1993 год начался, как и положено, хорошей, русской многоснежной зимой, на Крещение ударили, как предопределено свыше, морозы, температура была за минус двадцать. Но зима прошла, миновала, наступила весна. С весной не только появилась трава, но в Тиховодск пожаловали политики новой формации Жириновский, Бабурин, при правительстве области начала работу группа специалистов под управлением Пола Стронга, призванная поднять сельское хозяйство, что было неудивительно, в окружении самого президента трудилось полторы тысячи американских спецов, видимо, озабоченных подтянуть русскую деревню до уровня Оклахомы или Аризоны. Ещё древние римляне предостерегали воздерживаться от советов чужестранцев, но мы римлян не читаем.

Река вскрылась в урочное время, сбросила с себя ледовые одежды, разлилась, но её не украсили празднично, как встарь вымпелы пассажирских пароходов, буксиров, барж – самоходок и рейдовой мелочи, судоходству на реке пришёл конец. В мае депутаты приняли решение о признании Тиховодской области государственным территориальным образованием в составе Российской Федерации, в июле в областной газете объявили, что в ноябре будет конец света. А на здании город-



ской поликлиники в самом центре города кто-то водрузил Красный флаг.

Народ шёл по площади, останавливался, смотрел на знамя с чувством, с каким смотрят на когда-то утерянный и вдруг неожиданно обретённый, дорогой сердцу предмет.

Среди собиравшейся на площади не санкционированной толпы нашёлся бдительный гражданин, сделавший куда нужно телефонный звонок. На площадь, завывая панической сиреной, примчалась пожарная машина – лестница, и два пожарника ловко полезли по ней к не угрожавшему их жизни и здоровью трепетавшему на ветру полотнищу.

Так же, как со знаменем, поступили с людьми, когда проводился референдум (по-русски голосование) о судьбе Советского Союза. Люди, приученные за долгие годы, что власть интересуется их мнением, проголосовали за сохранение СССР. Они не знали, что наступили иные времена, когда мнение народа не принимали во внимание.

На площади одновременно с машиной возникли люди, которые начали опрашивать граждан, что они знают о том, кто решился поднять знамя, не видели ли они каких-либо посторонних, подозрительных лиц. Люди отходили в сторону, пожимая плечами, они действительно никого не видели и не знали.

Люди смотрели, как пожарники, не сумев вытащить из держателя, ломают древко, слышен был хруст ломаемой древесины, и все молчали. Только кто-то один, оглянувшись, и не очень громко, крикнул:

– Позор!

III

Милиционеры напрасно теряли время, опрашивая собравшихся на площади граждан. Человек, дерзнувший вернуть городу советский флаг, вышел из автобуса на остановке на сокольском шоссе и, закинув на плечи лямки рюкзака, бодро шагнул по обочине шоссе, а потом свернул на тропку и шёл по полю.



Ширков всей душой был против восстановления трёхцветного флага в качестве государственного. Одноцветный красный флаг был традиционным русским флагом, имея своим предшественником красное знамя римских легионов. Дошедший до наших дней vexillum (знамя) легиона III века до Рождества Христова, с изображением богини Виктории, багряного цвета. Лабарум императора Константина со словами «Сим победиши» был красного цвета. Красными (червлёными) были щиты древнерусских воев, красными были стяги с ликом Спасителя, в российском военно-морском флоте сигналом к началу сражения служил поднятый на стеньге командирского корабля красный вымпел.

Хотелось что-то сделать, как-то заступиться за красный флаг, под которым наша армия одержала столько побед. Но что? Не выйдешь же на улицу и не станешь кричать: «Да здравствует, Красное знамя», тебя сочтут за дурачка.

Роясь в ящике с гайками и болтами, он обнаружил странный, валявшийся уже не один год ключ. «Откуда он взялся? От какого замка?» – думал он, разглядывая его. И вспомнил. Как-то ещё на школьных каникулах он подрядился с приятелем Валеркой таскать на чердак поликлиники шлаковату. Завхоз дал ему ключ. Шлаковату таскать было противно, он потом скался, что взялся за эту работу. Мельчайшие частички стекла прилипали к коже, всё тело зудило, чесалось. Потом он целый день не вылезал из бани, отмываясь. Ключ завхозу он вернуть позабыл, а тот не спросил. Много лет с той поры пролетело, замок там, скорей всего, сменили. А что если? Он сходил на разведку, ключ подходил, доступ на чердак и крышу был открыт. Он разработал план операции, который исполнился без сучка и задоринки.

Недалеко от поликлиники была остановка сокольского автобуса. Он поставил знамя в старый флагодержатель, бегом прибежал на остановку и, когда сокольский автобус увозил его из города, он видел в боковое окно, как его флаг реет на ветру.

С улыбкой школьника, который втайне от родителей и учителей устроил всем каверзу, шагая полем в деревню, Шир-



ков с радостью видел приметы обновлявшейся после одноцветной, всё уравнивавшей своим белым цветом зимы, природы.

Снег везде сошёл, лишь отдельные длинные посеревшие лоскуты его лежали на северной стороне вала пересекавшей поле канавы. А так, постепенно всё заполняя, отвоёвывал у зимы, зелёный цвет. От бледного, нежно-салатного цвета травки, окаймлявшей край тропы, по которой он шёл; от ядрёного тёмно-зеленого ещё небольшого с детскую ладошку величиной, но обещавшего стать большим, листа лопуха, всюду торжествовал зелёный цвет, цвет возрождающейся жизни.

В городе, в зимних снах ему часто снился именно этот угол луга, на который он выходил сейчас с дороги. На другом краю видна серая шиферная кровля избы, и сладкое чувство грело душу: скоро, скоро, ещё недолго потерпеть и он ступит на жёрнов, вросший в землю, и с него взойдёт на крыльцо.

Ширков родился и вырос в Тиховодске, избу купил недавно, несколько лет назад, но это чувство любви к земле, пробуждению её от снегового, метельного сна, должно быть так же волновало сердца его деревенских предков.

В избе пахло весенней влажностью жилища, в котором никто не жил зимой. И чувство радости пробуждавшейся природы смешивалось с чувством более тихой радости, что он снова в избе.

Затопив печь с плитой, он открыл нараспашку окна, выкладывал из рюкзака продукты. Вскипятив чайник, он выпил кружку чая, принёс из сеней выглаженную руками до лакового блеска лопату, наточил её и вышел копать. Сначала небольшую грядку вблизи избы под цветы. Это своего рода разминка. Штык лопаты податливо вонзался в почву, поднимал пласт земли, переворачивал его и затем разрубал на крупные комья, крошил их. И снова вонзался, и снова поднимал, переворачивал и разрубал, и крошил. Работа была однообразная, утомительная, скоро рубаха прилипла к спине, на бровях повисли горячие капельки пота, которые он сбрасывал, тряхнув головой, прямо на грядку.



С детства ему полюбилось стихотворение:

Единое счастье – работа,
В полях, за станком, за столом, –
Работа до жаркого пота,
Работа без лишнего счёта, –
Часы за упорным трудом!

Сомнительно, чтобы Брюсов, купеческий сын, человек книжный, библиотечный работал в полях до жаркого пота, но вот сила поэта, веришь каждому его слову и здорово же написано:

Иди неуклонно за плугом,
Рассчитывай взмахи косы,

И в другом месте:

Работай! Незримо, чудесно
Работа, как сев, прорастёт:
Что станет с плодами, – неизвестно,
Но благостно, влагой небесной,
Труд всякий падёт на народ!

И в конце:

Всё счастье земли – за трудом!

Чисто советское стихотворение. Нельзя сказать, что труд не воспевали до советской власти, но именно при ней созидательный труд был уравнен с воинским подвигом, со служением Родине на поле боя.

Но как пахнет от земли! Этот запах нельзя было сравнить ни с чем. А каждую весну Ширков вдыхал его и наслаждался как древний алхимик наслаждался ароматом новосозданного им вещества. Он не был сродни аромату духов и одеколонов, в нём не было сладости, мягкости, мимолётно возникавших и тающих волн запахов, дразнящих нервные окончания в носу.



Нет, это был рабочий запах, в нём чуялась горчина перегнивших, перепревших стеблей и корней трав, которые прорезала лопата, в нём была крепость и надёжность силы, которая принадлежала тебе, и ты принадлежал ей.

Под стихи, под думы о стихах работа спорилась, штык врезался в землю, поднимал пласт земли, и так десятки, сотни раз.. Давно остался впереди намеченный им рубеж, на котором он хотел отдохнуть, а он копал и копал, и тихий, нежаркий майский вечер, и сварливо пробурчавшая на реке самоходка, всё навевало рабочую радость труда, упоение выносливой крепостью мышц.

– Отдохни, земля, покури, – за тихим покашливанием раздался негромкий голос за спиной.

Ширков воткнул лопату в землю, разогнул спину, отёр матерчатой кепкой пот с лица, подал руку:

– Здравствуй, Саша!

Сосед по деревне, капитан буксира Саша Коровин, трудолюбивый, честный, один из лучших капитанов в пароходстве, обращался к Ширкову, как к арбитру, по всем волнующим его вопросам. Известный в области журналист, редактор газеты он был для него авторитетом.

– Не в рейсе? – спросил Ширков, счищая щепкой налипшую на лопату землю.

– Выходные взял, надо тоже гряды вскопать.

– Как дела деревенские?

Саша, хоть и плавал по реке, но был в курсе всех событий и настроений родной деревни.

Из разговора с Сашей получалось, что в деревне те же проблемы, что и в городе, только ещё хуже. Поманили людей фермерством, люди поверили, вышли из колхозов и совхозов, а их душат налогами, безумными ценами на горючее. И, если ты фермер, ты всё должен делать сам. В колхозе одно дело делают одни, другие в это же время заняты на иных работах. А фермеру не разорваться, время не вернёшь. Хорошо, у кого есть взрослые сыновья или дочери, они помогают, а если нет. Батрака нанять, ему деньги платить надо. А где их возьмёшь?



И батраки разные, за другим присмотр нужен, да всё равно лучше тебя твою работу никто не сделает.

– Ельцин не знает про это безобразие, – подвёл итог деревенским новостям Саша.

– Знает он все, – подумав о неизбывной вере русского человека в доброго барина, сказал Ширков. – Не для того он посажен сюда, чтоб не знать.

– Ты думаешь? – раздумчиво протянул Саша. – Что же остаётся делать?

– Ты у меня спрашиваешь?

– А у кого же, человек ты начитанный, учёный. Как думаешь, что ждёт нас?

– Я думаю, опять хотят загнать Россию в европейское стойло. В рекламе слышны такие слова «европейское качество». По Луне разъезжала автоматизированная машинка, это было советское русское качество. Всё американское космическое тащилось позади советского И не только в космосе, просто космическая техника наиболее показательна, с самого начала в ней присутствовало самое передовое, выдающееся, что было в стране.

– Но на Луну американцы высадились первыми.

– Это ещё вилами на воде писано, в самой Америке миллионы не верят, что американцы высаживались на Луне, а «лунные» пейзажи считают трюком, сляпанным в Голливуде.

– Владимир, скажи кому это нужно, развал, шатание в государстве, никто никому не верит.

– Кому? Врагам народа. Черниченко на земле не работал, сам не пахал, не сеял, не убирал, а учить всех готов. А о колхозах так скажу. Люди, дураки, не понимают общей выгоды. Если будет общая выгода, и тебе перепадёт. А им говорят: берите пай. Они рады, ничего не было, а тут землевладелец, не понимают, что то, что делали вместе, теперь надо делать одному. Есть ведь ещё мужики, гору своротят. Не дают. Зачем им. Им надо, чтоб Россия голодала, бедовала, чтоб с протянутой рукой по белу свету ходила, побиралась.

– Кто они?



– Да я тебе уже говорил, – словно сердясь на тупость собеседника, сказал Ширков. – Враги наши, америкашки всякие, приехали учить нас, шкуры проклятые. Им лишь бы русского человека под корень извести.

IV

Надо же так случиться, что Внуков родился 1 мая, в день международной солидарности трудящихся всего мира. Шумных застолий по этому поводу он не устраивал. Девять лет назад Тиховодск и всё пишущее и читающее население страны отметили его 60-летие, по такому случаю его наградили орденом Трудового Красного знамени. Этого мероприятия было не избежать, но затем он стал отмечать дни рождения в узком семейном кругу, рассудив, что праздновать особенно нечего: с каждым годом стареешь, приближаясь к неизбежному концу.

В этот раз он позвал на годовщину одного Животова. Они скромно пообедали с Анной Григорьевной на кухне, выпили по рюмашке и пошли погулять. День выдался солнечный, праздничный и хотя новая власть не проводила демонстрации, но люди были одеты нарядно, лица у всех были радостные, где-то даже слышалась гармошка.

– Везёт тебе, Витя, – сказал Животов, когда они вышли во двор дома.

– Ты о чём?

– Ну как, твой день рожденья, можно сказать, празднует вся страна.

– Никакой удачи в этом не нахожу. В молодые годы меня даже злило, что один из праздников пропадал. Можно было выпить два раза, а получалось один.

Друзья стали вспоминать молодые годы, где, с кем, когда и сколько выпивали и какие при этом были приключения.

– Помню у моего друга Толи бабушка была, мировая старуха. Жила на улице Ольховой, это за рекой. Мы к ней частенько



заглядывали, однажды, вот дурачьё-то были, накупили огне-тушителей портвейна, пришли к ней, разделись до пояса и по-луголые, в палисадничке у её дома пили. Почему чушь всякая помнится, нет что-нибудь хорошее.

У Животова пьяных приключений было не в пример меньше. Владимир Степанович, с юности связанный службой, в этом деле от Внукова отставал.

Они прошли Брусиловский сквер, в рюмочной противотанкового магазина (к 40-летию Победы на постаменте был установлена «тридцать четвёрка», и местные острословы тот-час называли магазин напротив противотанковым) выпили по 50 грамма коньяка, закусив шоколадом и лимоном, по мосту у Веденеевской бани перешли Золотуху и ступили на улицу Предтеченскую(в советские времена Менжинского).

– Не скучаешь? – спросил Внуков Животова и подмигнул.

Раньше областное управление КГБ было на этой улице. Ещё в тридцатые годы бывший Святодуховский монастырь заняло управление НКВД. В городе в те годы бытовала страшноватая шутка:

– У святого духа всё скажешь. Чего не было, и то вспомнишь.

Долгие годы сохранялась монастырская ограда – каменная трёхметровая, чисто побелённая. Когда Хрущёв провозгласил возврат к ленинским принципам жизни, чтобы не афишировать вход в грозное ведомство, монастырскую ограду сломали, на её место поставили пятиэтажный жилой дом с магазином «Океан» на первом этаже. Первые три – четыре недели магазин был переполнен. Многие приходили не купить, а посмотреть на плавающую в бассейнах – прилавках рыбу.

А вход в КГБ перенесли на улицу Менжинского, и сделали его таким неприметным, что человек несведущий и не предполагал мимо чего он проходит.

Владимир Степанович Животов помнил ещё тот, старый вход. Въезд был через святые ворота бывшего монастыря. Само здание управления стояло в глубине двора, к нему вела



асфальтированная дорожка. Ещё ребёнком он проходил мимо ворот, и сам вид здания в глубине двора, и часовой, в это время вышедший из будки КПП, произвели на него впечатление тайны. Вот бы зайти туда.

Это был один из волшебных мигов, когда детям открывается их будущее, но узнают они об этом многие годы спустя. Тем детям, которым дано помнить своё детство.

Он вошёл на территорию управления через новый, не приметный вход. После училища он недолго послужил в родном городе, потом кочевая офицерская судьба мотала его по всей стране: Якутия, Киров, Пермь. И только перед пенсией в чине полковника он вернулся туда, где началась служба.

Всё это Животов вспомнил, пока они шли с Внуковым по улице.

У второго четырёхэтажного дома, построенного после войны для сотрудников НКВД, дворник подметал тротуар.

– Эй, парень, – крикнул ему Внуков, – не пыли, дай пройти.

Дворник опустил метлу, стал рядом с домом, возле сидевшей чёрной собачонки. Собачонка была так упитана, даже жирна, что малыш лет четырёх- пяти, показывал на неё матери с весёлым криком:

– Мама, посмотри, чёрный поросёночек.

– Ты чего, друг, работаешь, праздник ведь, – сказал Внуков, проходя мимо дворника.

Собачонка подошла к Внукову.

– Миня! – крикнул дворник, – Место! – Собачонка уныло вернулась к стене. – В праздник двойная оплата, – пояснил дворник, – Да и некрасиво, когда весь тротуар в лопнувших воздушных шарах и окурках.

– Ээ, паря, всех денег не заработаешь, – сказал Внуков.

– Но к этому надо стремиться, – весело ответил неунывающий дворник.

– Верно, – Внуков окинул приветливым взглядом подтянутую, спортивную фигуру дворника в тренировочном костюме, – Но стремиться надо не только к этому.



– Знаем, к чему, – ответил дворник, захохотав, и взмахнул метлой.

Сразу за домом, возле которого орудовал дворник, в коротком скверике лежал больших размеров увесистый валун. По середине гранитного великана на никелированной табличке читалось: «Незаконным жертвам политических репрессий».

– Как жалко, что меня не позвали на открытие, – со старой горечью сожаления сказал Внуков.

– А что тебя смущает? спросил Животов, – Вроде всё верно.

– Всё не верно. Враньё с самого начала. Вот это возмущает и бесит, что говорят о правде, а сами врут. Народ ведь им поверил: гласность, правда. Народ подумал: неужели наконец-то начнём жить по правде, по совести. Так набежала куча баб, а бабам, полохолам, правда не нужна, им лишь бы шум, визготни побольше. Почему незаконные? Как раз законные. Это при Ленине разлюбезном расстреливали по списку. Встанет полуграмотный чекист на пороге камеры и зачитывает: на выход с вещами. Кто ленинские, троцкистские репрессии считал? Никто. За покушение на Ленина по всей России пятьдесят тысяч расстреляли. Цифра точна, не из солженицынского кривого пальца высосанная. А у товарища Сталина всё по закону было, у него не какая-то шайка троцкистская, на каждого человека папка заведена, и не революционная необходимость, а статья в Кодексе. Всё чин-чинарём, а они: ах, незаконные, ах, произвол. Изю всех сил делают вид, что до Сталина репрессий не было.

Кстати, о том, что репрессии политические.

В «Правде» за 37-й год под рубрикой «из зала суда» я вычитал такую историю. В декабре тридцать шестого года Верховный Совет СССР принял Сталинскую конституцию. В Мелекесе была учительница, делегат этого съезда. Поезд из Москвы приходил поздно ночью. Она пошла домой, на неё напали, зарезали и догола раздели. НКВД тогда зря хлеб не ел, это сейчас годами не могут найти убийц, а тогда душегубов быстро сыскали. Шестеро их было. Судили по 58-й статье как за убийство представителя власти, и всех расстреляли. Скажут жестоко, но разве товарищ Сталин им счастливое детство



дал для того, чтобы учительниц по ночам резать? По логике нынешних правдолюбцев, это ведь тоже жертвы сталинских репрессий. Народу ведь вбили в голову: кто по 58-й, тот сидел или расстрелян был ни за что. Такие вот политики.

– А ты понимаешь, почему этот булыжник поставили именно здесь? – спросил Внуков.

– Да ну тебя, Витька, думал, погуляем по праздничному городу, а ты всё какие – нибудь гадости возьмёшься рассказывать. Всё, пошёл я домой, куплю бутылку сухого, да посижу с Ниной. Ребёнку понятно с булыжником этим.. Ты же знаешь, тут вход у нас в управление в то время был. По утрам мы тут на службу шли. Его и сгрузили здесь. Дескать, идите и любуйтесь на дела рук своих.

– И вы терпели? В хорошую морозную ночь вышли бы с кувалдами, двум крепким мужикам на полчаса работы, а списали бы на мороз..

– Ещё раз: ну, тебя, я с тобой серьёзно, а ты про кувалды, знаешь ведь, чем бы это кончилось. Пошёл я.

Он отошёл метров 10-15, как за спиной раздался окрик:

– Полковник Животов, стоять!

«Хватит с меня»- подумал Животов и не замедлил шага.

– Володя, стой, стой.

Животов обернулся с молчаливым вопросом в глазах: «Ну чего тебе ещё надо»?

Внуков с просиявшей улыбкой подбежал к нему, схватил за рукав у запястья и потянул за собой. Животов не сопротивился.

Они пробежали двором, и Животов увидел то, что заставило забиться сердце и перенесло его в детство. В хоккейной коробке, оставшейся от тех золотых времён, когда всё подрастающее поколение страны Советов играло в хоккей, бегали мальчишки со щитами и мечами в руках. В детстве Животова вся детвора сражалась на палках, которые выламывали из кустов, подбирали на дороге подходящую штакетину и обстранивали её ножом. Но те давнишние мечи в сравнении не шли с тем, что он видел сейчас. У этих ребят были настоящие мечи. Клинки, понятно, деревянные, но рукояти, перекрестья мечей



были как у всамделишного оружия. Такого изобилия мечей и щитов и вообразить было нельзя.

– Может, фильм какой снимают?

Это был не фильм. С полутора десятка мальчишек от первого по седьмого класса, разбившись на пары, сражались на мечах. Руководил ими молодой человек, худощавый с бородкой, слегка сутулящийся, но с молодцеватой осанкой.

Потом мальчик постарше стал, закрывшись щитом, а младшие ребята, вереницей, один за другим подходили к нему и поочередно били, сначала по ногам (мальчик опускал щит ниже), а потом сверху.

– Спасибо тебе, – Животов пожал Внукову руку выше запястья.

– Мы с тобой рассосуливаем, а я вижу, во дворе какие-то мечи мелькают и ребята кричат, встал на каменный низ забора, подтянулся на прутьях и увидел. Только знаешь, что меня удивляет?

– Что? – подумав, что Внуков по своей привычке сейчас как – нибудь пошутит, сказал Животов.

– Они отрабатывают только рубящие удары. Но ведь укол гораздо быстрее и опасней.

– Не согласен, казаки практиковали кистевой удар, он тоже быстрый и опасный.

– Всё равно укол быстрее. Вспомни, как у Стендаля бывала маркитантка наставляла Фабрицио дель Донго.

– Во времена Фабрицио не было ни кольчуг, ни лат.

– Латы это вообще западноевропейское. Зеркальных, сплошных лат не было на Руси. Почитай Кирпичникова.

– Что мне твой Кирпичников. Корин Александра Невского в латах изобразил, в латах.

– Корин – художник, живописец, а не историк.

– Ну, здрасьте...

Друзья не заметили, что их перепалка привлекла всеобщее внимание, и ребята, оставив свои упражнения, с интересом смотрят на двоих стариков, спорящих так громко и возбуждённо, что, кажется, готовы подраться.



Первым ребят увидел Животов. Толкнув Внукова в бок, он взглядом показал ему на детей. И они оба засмеялись. К ним пошёл тренер. Георгий Владимирович, как они узнали позднее.

– У вас какая-то проблема? – спросил тренер, подумав: неужто и эти пришли записываться в секцию.

– Вы не подумайте, – словно прочитав его мысли, сказал Животов, – мы не записываться пришли.

– А почему, – решив пошутить, сказал тренер, – у нас возрастных ограничений нет.

– Ага, – подхватил Внуков, – турнир: первый бой пенсионера.

– Скажите, – спросил Внуков под возобновившийся стук мечей о щиты, – мы почему-то видим только рубящие удары, а где же уколы? Это обедняет боевой арсенал воина.

Тренер объяснил, что укол более травмоопасен. Соответствующего защитного снаряжение пока ещё нет. – Мы обязаны при отработке укола обеспечить всех масками, а на это у нас нет средств. Да и таковы общепринятые правила.

– А если надеть фехтовальные маски?

– Шпага или рапира при колющем ударе сгибается, – со знанием дела уточнял тренер, – а меч маску может проломить. Понимаете?

Внуков и Животов, попрощавшись с тренером и ребятами, уходили со двора, поминутно оглядываясь с радостью во взорах.

– Ты всё же к себе пойдёшь? – спросил Внуков Животова, легонько поталкивая его в бок. – Бросишь друга. Пойдём лучше ко мне, у меня там ещё осталось. Посидим, попоем.

Они прошли мимо областной администрации, уродливого здания через дорогу, застеклённого модными нынче чёрными полированными стёклами (– Как покойницкая, – отозвался о здании Внуков. – Неужели это кому-то нравится?), шли по Винтеровскому мосту.

– Ну так как? – спрашивал Внуков.

– Что с тобой поделаешь, пошли к тебе. – ответил Животов. – Всё же я в толк взять не могу, почему у нас этого не было? В на-



шем детстве, в доме пионеров масса хороших кружков, я в судомодельный ходил. А ты?

– Я в драму, мечтал Черкасовым быть как Александр Невский.

– Ну почему не было такой секции, такого кружка, где сражаются, ребята бы валом туда валила.

– Ты как к перестройке, будь она неладна, относишься? Давай постоим.

Они положили руки на чугунные перила. Внизу текла речка Золотуха. Была она изрядно загажена, замусорена, у берега лежали какие-то гнилые доски, но в воде колыхались водоросли, струили по течению длинные зелёные русалочки пряди.

– Как любой нормальный, с омерзением.

– В таком заведении служишь, а рассуждаешь не диалектически. Перестройка это – революция, а революция, говорил Ваймарский старец, разрушает столько же хорошего, сколько и создаёт. Должна же и перестройка создать что-то хорошее. Вспомни пятидесятые годы. Если бы кто-то пришёл с идеей создать такой кружок, то в бестолком, как называли остряки обком, обязательно нашёлся бы чинуша, который бы завопил: Историческое фехтование, древнерусские воины, русские, да вы что, это же великодержавный шовинизм. У нас в городе один журналист написал статью, в которой вскрыл сатанинскую символику на американском долларе. Так знаешь, кто первый напустился на него с критикой? Зав. отделом пропаганды обкома. Вот эта заскорузлость, эта закоренелость мысли, эта готовность к продажности в конце концов и погубили Союз. Поминая Аввакума, из которого строят борца, пусть всё стоит на месте. Вот и достоялись. Так что перестройка, фу, какая гадость, – Внуков сплюнул, – даже произносить противно, принесла какую-то свободу.

Они перешли мост. Слева к вокзалу вёл широкий проспект Мира, справа за белыми стенами архиерейского подворья стужком золотого пламени торжествовала в небе глава Успенской колокольни.



С Романом случилось происшествие, оставившее в душе его двойственный отпечаток. Вроде бы гордиться нечем, да и стыдиться тоже, настолько неожиданен был это внезапный душевный порыв. Когда начинают пригревать весенние лучи и снег незаметно, но скоро уходит с улиц и площадей, исчезает с отлогих берегов Золотухи и те покрываются зелёной шелковистой травкой, на улицах Тиховодска появляются незванные гости. Лет тридцать назад о них никто и подумать не мог, а в последнее время с регулярностью первой травы появляются и они. В цветастых платьях, смуглые, грязные, неопрятные, обмотанные каким-то тряпьем вокруг головы, в длинных цветастых, развевающихся юбках, подолом подметающими тротуар, с маленькими детьми они бродят стайками по центру города, им подают, видимо, потому что у них есть дети, если бы не было детей, скорей всего все отсутствующе проходили бы мимо. Роман смотрел на пришельцев с неприязнью, но сказать что-либо в их адрес, например «Кто вас сюда звал?», не позволял вбитый с детского сада интернационализм. Хотя краткие газетные строчки о том, как издевались, замучивали до смерти женщин и детей в Фергане и Оше, задвигали этот интернационализм в сторону, как задвигают в кулисы ненужную декорацию. И, скорей всего, был это совсем не интернационализм, а та извечная русская жалостливость, которая понуждала советских женщин давать военнопленным немцам кусок хлеба или луковицу, когда у самих дома было шаром покати. Это в характере русских: чужеземца пожалей, а не оттолкни. Покорми, обогрей, а не оглуши его ударом кетменя по башке.

На ступенях постамента памятника Ленину, в самом центре, где раньше проводились праздничные демонстрации, а до самого памятника никто дотронуться не смел, сидела такая беженка. Что-то шевелилось у ней на коленях в затрёпанном, лоскутном одеяле, а у балюстрады чуть поодаль от памятника ковырялся в земле черноволосый кудреватенький, как барашек, мальчонка. Временами она что-то кричала ему



непонятное. Он вскидывал головку, смотрел на неё чёрными, как ягоды смородины, чуть на выкате глазами, улыбочиво кричал в ответ.

– Здорово, – став правой ногой на нижнюю ступеньку пьедестала, сказал Роман, как будто говорил с Катькой, рабочей с растворного узла. И что-то, вспомнилось ему, Ленин писал о рабочей женщине Востока. Заставляли в своё время конспектировать дедушкину мудрость. И сдавать зачёт.

– Здравствуй, – глянув на него из-подлобья, как насторожившаяся к прыжку кошка, ответила она и выставила вперёд узкую и видно, что немытую, ладошку..

– Худо жить стало? – с участием спросил он, посмотрел на малыша у балюстрады, на которую в старосоветские годы развешивали портреты передовиков производства.

– Худо, – почуяв теплоту в голосе, ответила она, а смотрела всё так же.

– При советской власти лучше было?

– Лучше, – с заминкой ответила она, должно быть подумав, что за чмо задает ей вопросы, нет бы денег дал.

– Откуда будешь?

– Из Самарканда.

– Далеко тебя занесло. Что так?

Из дедушкиных статей следовало, что русский народ был кругом виноват перед окраинами российской империи, перед среднеазиатскими декханами, и обязан был всем помогать. И мы помогали, на месте глинобитных кишлаков построили современные города, проложили автомобильные и железные дороги, но зачем русских людей заживо-то в Оше жечь? Вместо благодарности.

– Заводы закрылись, работы не стало.

– А почему заводы закрылись?

– Ак русские-то все уехали.

Если тебя заживо жечь будут, и ты побежишь.

Вообще-то и разговор этот, и сама чучмечка, и пащенок её стали Роману надоедать. Он сразу перешёл к делу.

– Россию любишь? – в упор спросил он.



Чучмечка попалась настоящая, кремневая, не заскулила, не заныла лживо и занудно, как это делают цыганки, у них по этой части опыт многовековой. Не подумала давить на национальную гордость великороссов, как она любит матушку Россию, а посмотрев, словно сверкнув басмаческой саблей, как выплюнула:

– Ненавижу.

– Ах, вот как, – унимая поднявшуюся в груди к самому горлу злобу, сказал он. – Я вижу, ты пока ничего не поняла. Вы думаете, так и будете без конца ездить к нам. Мужики ваши будут к нам наркоту возить, воровать, что плохо приколочено, девочек насиловать, а мы будем любоваться. Не надейтесь. Если хотите снова жить по-человечески, а не по – крысиному, станьте на самой большой у вас на площади на колени да завопите во весь голос: Россия, прости нас, ты создала у нас промышленность, вылечила нас от трахомы, прогнала баев, сняла с женщин чадру, освободила бедняков – горемык из зинданов, где они гнили заживо, уничтожила рабство. Прости нас, что поверили мы вранью, будто ты нас угнетаешь. Вернись к нам, пусть снова заработают заводы и фабрики, – покосившись, Роман заметил, что праздно прогуливавшийся неподалёку лягавый элемент, посматривает на него, митинг на тему «Дружба народов и перестройка» надо было завершать, – Запомни, что я тебе сказал, и передай товарищу, – он не договорил.

И пока шёл до Сашиного садика думал, зачем он ей всё это говорил? Зачем обидел, оскорбил бедную женщину? Что она тебе сделала плохого, напустился на неё, как ворон на краюху чёрствого хлеба? Ведь ты знаешь, что она не виновата, знаешь, кто особенно усердно трудился, чтобы разорвать, расколоть Союз. Чтобы собрать его заново, надо действовать с любовью, а не попрёками. И во время раздумий лезла в голову, надоела, хотел он от неё отделаться и никак не мог, песня, которую пели в школьном хоре:

Ай, яй чучаляли,
Ой вы мои комочки,
Мои жёлтенькие квочки.



(Они на уроках. дурачась пели: мои маленькие дочки).

И ведь не одну эту песню разучивали в школе, и немецкую, и польскую, и румынскую и много других. И после этого какой-то дегенерат называет нашу Родину империей зла. Много в американских школах разучивают русских песен?

Взяв Сашу из сада, он не повёл его обычной дорогой, а шаггал, держа сына за руку, в центр.

– Папа, мы куда идём? – спрашивал Саша.

– Надо мне одного человека повидать.

– Дяденьку или тётеньку.

– Тётеньку, – ответил Роман, подумав: «Надо ей хоть рублёвку – другую дать, дети-то есть хотят, дети же не виноваты».

И тут же заспорил с собой. «Старая песня, дети, простой народ не виноваты, это вожаки их творят. А кто, когда немцы отступали, на Украине трупами детей да стариков колодцы доверху набивал? Гитлер со своим бесноватым Йозефом?»

Но когда они пришли с Сашей, на ступеньках постамента никто не сидел. Роман посмотрел по сторонам, но не увидел вокруг ни одного цветастого, длиннополого платья.

Не хотел он идти туда, не хотел, но Саша увлёк, да к тому же он подумал, что рабочий день закончен, никого там нет, но задолго до того места, он сперва услышал, а потом увидел, что ошибся: Дом, в котором они с Сашей были в том году, стоял несколько месяцев заброшенный, теперь ломали. А для Романа зрелище сносимого деревянного дома было непереносимым. Когда же это кончится, когда из Москвы пошлют к нам умного градоначальника, который полюбит древнюю красоту и оставит её уничтожение?

С крыши летели проржавевшие листы кровельного железа, доски, сор, потом в воздухе распухло такое облако пыли, что надо было переждать. Рабочие старались вовсю, визжала пила, стучали молотки, И вдруг сердце вспорол страшный, пронзительный взвизг. Рабочий, видимо, отрывал гвоздодёром доску, и старый гвоздь прямо возрыдал, когда его выдирали из родимого, с которым он сжился, гнезда.



Недавно в газете была хвалебная статья о Ломакине. Ломакин немало сделал, чтобы деревянный Тиховодск перестал существовать. Конечно, в статье об этом не было ни слова, но зато с восторгом преподносилось его усердие по развитию города. Писалось, что он сделал много, чтобы Тиховодск стал современным городом, получил современную инфраструктуру и т.п. подобную чушь. Но город развивал не Ломакин, его развивали деньги, которые дало ему государство. Псевдозаслуга Ломакина была в том, что он без ума тратил эти деньги. Воровать тогда было нельзя, вот он и расходовал деньги на город.

Сейчас его воспевают, что он способствовал массовой застройке города хрущобами, проводил канализацию и водопровод, благоустраивал Тиховодск, а на деле он вычеркивал из него историю, вычеркивал его из истории, клинбабами, бульдозерами, ломами, пилами. Труды Ломакина продолжили его сообщники и ведь добились своего, Тиховодск был вычеркнут из списка древнерусских городов, как утративший свой исторический облик. Он остался только в снах старожилов, в их ночных слезах и горьких думах: какой город был! Был и нет, а считаешь газеты, так он до сего дня всё хорошеет и молодеет, ещё вздумали провозгласить его культурной столицей.

Роман, проходя захламлённым тротуаром, не обращая внимания на то, что ему на голову может свалиться доска, нагнулся, поднял выломанный кусок оконной рамы с фигуристой, дореволюционной ручкой, позвал Сашу и пошёл по Калинина к себе домой.

VI

События осени 1993 года до сих пор остаются не проявленными. О закулисных встречах с Ельцина с американцами, о чём в двадцатых числах сентября с Вашингтоном разговаривал Хасбулатов, молчок наложен такой прочный, уже много столько лет прошло, но правду о демократии сказать не торопятся. Перед тем, как Ельцина вытащить из свердловской ды-



ры, конечно, с ним говорили, но кто говорил и что он обещал говорившим с ним, этого никто не знает и не узнает. Вытащили в столицу с периферии далеко не самого умного обкомовского секретаря, а толкача, тарана, носорога, который должен не думать, а только сметать всё на пути.

В будущем историки разберутся и опровергнут утверждения очевидцев, что октябрьские события явились внезапно, неожиданно.. Люди в подавляющей массе живут нынешним днём. Когда им говорят и показывают, что нынешний день был приурочен заранее, они отрывают рот, наподобие несмышлёного ребёнка и говорят:

– А мы думали (или: а мы не думали)

Мартовские и июньские события (лишение А.Руцкого поста вице-президента и др.) были поняты как учебная тревога. А они были разведкой боем. Сторонники Ельцина и он сам увидели, что никто серьёзно не отнёсся к заявлениям и указам, и беспрепятственно стали готовить переворот по настоящему.

Противники Ельцина думали, что президент, как обычно, покуролесит, пошумит, проорётся, а потом проспится, и всё останется как было.

Поэтому указ № 1400 о конституционной реформе застал всех врасплох. Ответные действия Верховного Совета не принимались всерьёз. Так указ об отрешении Ельцина от должности, хотя и отвечал Конституции, был полностью законен (на жаргоне законников – юристов легитимен), не возымел никакого результата. Главы администраций, назначенные Ельциным, знать не хотели иного президента, кроме него. Указы Верховного Совета многие считали чем-то вроде игрушечных бумажных денег, продающихся в киосках «Союзпечати». Вроде бы настоящие деньги, но силы они не имеют.

Несмотря на крики о свободе, несмотря на то, что были политики, заявлявшие, что Ельцин дал русскому народу свободу, свобода была односторонней, свободой по разрешению. Ельцину и его присным была зелёная улица на телевидении, Верховному совету не давали по телевидению слова пикнуть.



Но люди думающие понимали, что правда на стороне Верховного Совета. Ельцин слишком откровенно угодничал перед американским президентом, что для многих русских людей не совмещалось с чувством независимости и достоинства. Советской власти уже не было, были порушены и вряд ли могли быть восстановлены её государственные порядки, структуры. Но люди хотели, чтоб Россия жила своей народной, русской жизнью, чтоб никто не смел указывать, как ей нужно жить и как себя вести. А тысяча иностранных советников Ельцина у любого русского человека вызывали здоровое недоверие и сомнение в том, на благо ли государства действует президент. Люди помнили июньский день 1945 года, когда взоры всего мира были обращены к Москве, когда по древней брусчатке перед Вождём печатали шаг победоносные батальоны лучшей армии в мире. Чуткие люди слышат эхо этих шагов, они не забудут их никогда, и не позволят, чтобы слава тех дней померкла и была забыта. Слава тех дней, когда весь мир знал, какой народ победил зверя и принёс всем людям свободу, не померкла. Так внукам ли этого народа слушать чьи-то приказы из-за океана и повиноваться им. Люди ехали в Москву из Риги, Владивостока, из Мурманска и Краснодара, отовсюду. Верховный совет победил бы, если в Москву съехалась бы вся Россия, но это было невозможно.

Своим сопротивлением, несогласием с предательством, своею стойкостью, Верховный Совет искупал тяготевший на нём грех: признание Беловежских соглашений.

По бездарности своего руководства демократическая Российская Федерация была вынуждена залезать в долги. Сталин ни у кого не брал в долг. А Горбачёв и Ельцин стали сразу жить в долг. Очередной заём оказался замороженным из-за спада реформ, в переводе на обычный язык, грабёжа России. Препятствием на пути грабежа стал Верховный совет, потому что там были трезвые (в буквальном смысле) люди, видящие, куда Ельцин ведёт государство. Главным вдохновителем переворота был Запад, ведь 70 парламентов одобрили расстрел Дома. Чего после этого стоят их лицемерные стенания по поводу на-



рушения прав человека. Они, протестующие против расстрела уголовного преступника, вина которого неоспоримо доказана судом, рукоплескали массовому убийству невинных людей. Здесь (в который раз) проявилась вековая ненависть европейцев к России и русскому народу.

Прослеживались чилийские события 1973 года, и танки в Сантьяго стреляли по президентскому дворцу.

По многолетней, с советских времён привычке, прослушав по транзисторному приёмнику последние двадцатидвухчасовые известия, Внуков подошёл к окну. Он заканчивал роман, главный герой которой почти повторял его военную юность и как обычно, старался меньше читать постороннего, чтобы ничто не отвлекало душу от художественного настроения, старался не смотреть в этот период телевизор, но события, происходящие в Москве, не могли не действовать на него. Отгораживаясь от них, он всё же не мог отгородиться от них наглухо, как человек, живущий на берегу моря, не может не слышать голос бурового прибора.

Строительство правового государства начали с вранья, с переворота.

В дверь кабинета постучали тихо, еле слышно, но он так задумался, что вздрогнул.

– Витя, -шептала за дверью Анна Григорьевна, – к тебе Володя.

– Какой ещё Володя?

– Друг твой, Животов.

– Так поздно уже, – недовольный, что его выдёргивают из дум, роящихся в голове образов и слов, буркнул Внуков и сразу сменил интонацию, – пусть, пусть заходит.

– Выйди, встреть его. С ним что-то случилось, он на себя не похож.

Внуков нетерпеливо вышел в прихожую и понял жену. Он увидел не обычного Владимира Степановича, а растерянного, поникшего человека. Глаза Животова смотрели тускло, вяло, опустошённо.



– Здравствуй, Витя, – пробормотал Животов, словно сказать эти слова ему стоило огромного усилия.

– Володя, – с заколотившимся сердцем выговорил Внуков. – Проходи, сядь, сядь, не стой.

Он провёл Животова в комнату, усадил на диван.

– Что с тобой? Умер кто-нибудь?

– Хуже, – протолкнул слова сквозь зубы Животов. – Пётр из дома ушёл.

– Ой, – вскрикнула Анна Григорьевна.

– Как из дома? Зачем? В его возрасте уже не бегают из дома. Он же не подросток.

– Петенька!- вскрикнул Животов и зарыдал. – Вот, читайте. Он сунул скомканный, мятый – перемятый комок бумаги. – В Москву сбежал.

Тихо отворив дверь, вошла Нина Витальевна, села рядом с мужем. Анна Григорьевна присела рядом, обняла её за плечи.

«Милая мамочка, – расправив листок читал Внуков прыгающие буквы. – Дорогие бабушка и дедушка. Я уезжаю в Москву, чтобы бороться за правду. Как писал президент Чили Сальвадор Альенде «В час, когда к власти рвётся предательство» я должен быть там, среди патриотов, своих друзей и соратников. Дедушка, ты сам научил меня, что человек должен быть прежде всего верным сыном своей Родины, каким был товарищ Сталин и его сыновья Яков и Василий. Простите, что взял у вас немного денег на дорогу. Ваш Пётр».

– И что теперь делать? – спросил Животов, когда Внуков отложил письмо.

– Выпороть надо, как вернётся.

– Своих пори, – истерически взвизгнул Животов, – Я его серьёзно спрашиваю, а ему всё смешочки.

– Витя, – сказала Внукову жена.

– Я серьёзно, – отвечал Внуков, – как вернётся, надо внушить ему, что хватит в детство играть. Надо с матерью, с дедом посоветоваться, а не совать голову на гильотину.

– Слушай Витя, – перебил его Животов, – ты рассуждаешь, как заплесневелый, пошлый филистер, обыватель, а не рус-



ский писатель. Как ты не понимаешь, что для него это не игра, парень живёт по убеждениям. Может, и юнкерам, засевшим в Кремле, надо было с мамами да папами советоваться, и Пете Ростову, и Зое Космодемьянской. Да, выступление юнкеров ничего не дало, но мы знаем, что не все молчали, что были люди, вставшие за честь России.

– Не переживай. Снимут его с электрички, вернут назад.

– Научил я его, как кордоны обходить.

– Вернётся, – успокаивала Анна Григорьевна, – Проспится президент и уляжется эта свистопляска. Уймётся страна, утихнет, он и вернётся.

– Не вернётся, – вдруг спокойно и ясно сказал Животов, – погибнет. Сердце говорит.

– Вова, что ты? – вскрикнула на диване Нина Витальевна.

– Не надо отчаиваться, предаваться меланхолии, говорить глупост, – сказал Внуков. – Будем молиться и надеяться. Я позвоню в Москву, знакомых у меня много, может, увидят его.

– Если увидят, – горячо, как будто уже видел любимого внука, заговорил Животов. – Чтобы сразу ехал домой. Так пусть и передадут: дед приказал.

– Может, Валюше позвонить, вдруг она что знает, – предложила Анна Григорьевна.

– Да, правильно, – сказал Внуков, – как я не догадался, – и в прихожей набрал номер, – Валюша. здравствуй, – говорил он через минуту. – Прости за поздний звонок. Ты уже знаешь, что Петька наш отмочил?

– Не отмочил, не отмочил! – закипевший Животов двинулся на Внукова, но Анна Григорьевна перехватила его, оттаскивая от мужа.

– Ты не придёшь к нам? Поговорить надо, – спокойно наблюдая за стычкой Животова с Анной, сказал Внуков. – Приди, умница, мы все рады тебя видеть. Кто все? Мать, дед его сумасшедший, бабка, мы с Анютой.

– Рядом она живёт, на Кирова, за архивом, – ответил Внуков Нине Витальевне и повернулся к Животову. – Ну что ты,



как тореадор испанский на людей кидаешься? Что ты, как Эскамильо, честное слово.

– А то, что не отмачивал Пётр ничего, не надо из него дурня делать, он по совести своей поступил.

– Хорошо, прости меня. Может я перегнул палку.

На лестнице слышались торопливые шаги, задребезжал звонок.

– Как быстро, – удивилась Анна Григорьевна.

– Девка молодая, – говорил Внуков, отпирая дверь. – Долго ли ей сквер перебежать. Глазом моргнуть.

Запыхавшаяся от быстрого бега Валя смотрела на всех вышедших в прихожую встретить её. Первой к ней шагнула Нина Витальевна. Они обнялись и заплакали.

– Проходите в комнату, – сказал Внуков, – чего тут в прихожей топчетесь, как неродные.

Все прошли в гостиную. Животов сел в своё любимое, хотя не вполне удобное, кресло со спинками из оленьих рогов.

Все молчали, никто не знал с чего начать.

– Чего ж ты, как на фронте говорили, сестрёнка, – сказал Внуков, – Петра-то своего в Москву отпустила? Нынешние парни гордые, не они за девками бегают, а девки за ними бегать должны. Вцепилась бы, не пушу, нас бы кликнула на помощь, помогли бы. А то без нас всё тишком обстряпали, а теперь слёзы.

– Дядя Витя, – бросилась к нему Валя, зная, что за шуточками да смешочками Внукова скрывается доброе сердце. – Дядя Витя, вцепилась я, и не пушу кричала, а он: решил я, так и будет, с места не свернёшь. Он загорелся ехать, когда только всё началось. Я отговорила: есть и без тебя в Москве защитники, не может же вся Россия съехаться в Москву. А он увидел Ельцина по телевизору, хотя всегда при виде его от телевизора уходил, а в этот раз задержался да и не стерпел, когда тот стал о России говорить. Он его вурдалаком называл за то, что царский дом в Екатеринбурге взорвал.

– Валечка, – спросила Светлана, показывая взглядом на бумагу, которую девушка сжимала в руке, – можно посмотреть, если там, конечно, нет чего-то личного.



Мать Пети сразу поняла, что сказала глупость, как же не может быть личного, если Петя писал ей.

– Пожалуйста, конечно, конечно, – Валя даже с радостью, что может хоть что-то сделать для неё, отдала письмо.

Все обступили Светлану.

«Милая, милая, милая Валюша. Я уезжаю в Москву. Я не могу жить здесь, когда там люди страдают, страдают за нас с тобой, за народ, за Россию. Сегодня я сделал страшную ошибку, когда посмотрел ТВ. Услышав его, его речь с хамскими, рыкающими интонациями, словно это говорит Эриманфский вепрь, получивший возможность говорить, что-то оборвалось во мне. Я не могу не ехать. Поверь мне, моя девушка. Я буду считать себя последним низким подлецом и трусом, если буду сидеть здесь. Vale, Валя. Целую твои губки и глазки. Твой Gaius Julius Petronius. Помяни за раннею обедней».

– Ребёнок, честное слово, ребёнок, – со слезами катившимися по щекам, говорила Анна Григорьевна, – всё игра в античных героев, а шестнадцать лет уже.

– Я ж говорю Чеховские мальчики, только те в Южную Африку собрались, а эти на войну, – говорил вполголоса Внуков.

Порешили, что будут ждать известий, не может быть, что-бы Петя не дал знать о себе.

VII

Пётр Ненашев был одним из тех ныне редких людей, которые рождаются русскими по духу, по складу характера. Единственное, что требовалось от него, проявить эту русскость с годами. Ему не нужно было почувствовать что он русский, как начал понимать это где-то к 40 годам Роман, не нужно было подкреплять это чувство чтением исторических книг и трудов как Широков, Внуков и Животов. Уже лёжа в колыбели с соской на шелковой красной ленточке, повешенной ему на шею, он был русским от макушки с о светлыми льняными волосиками на ней, до розовых пятёчек, которые так любила цело-



вать его мать. Он любил и знал русскую историю и ко второму классу удивлял многих взрослых своими познаниями, знал об Александре Невском и Дмитрие Донском, о Кутузове, Багратионе, Ермолове и Платове. Уже в этом возрасте он именовал Наполеона не иначе как мерзавцем, чем приводил в удивление (а иногда и в негодование) взрослых. Россия, русская литература, язык, история – были для него всё. Не менее он гордился и советской Россией, особенно сталинской эпохой, её трудовыми свершениями, боями на озере Хасан, Халхин Голе, в Финляндии, победой в Великой Отечественной войне. Он знал всех маршалов, наиболее важные сражения и операции. И впервые услышав от деда, как Сталин ответил на звонок Жукова о Гитлере: – Доигрался, подлец, – он хохотал так заливисто, как могут смеяться только дети.

Не совсем понимая умом происходившее в стране, ему было больно за страну, за клевету на её историю, за унижение и поношение армии. Он испытывал жгучий стыд за руководителя страны, когда тот пьяный размахивал руками перед военным оркестром в Берлине, месте нашей славы. Ельцин проспал встречу с премьером Исландии, потому что его мертвецки пьяного не смогли разбудить и, наконец, на виду у всего бела света помочился на самолётное колесо. Ничего более постыдного не было в русской истории. Никита Хрущёв с его полуботинком на трибуне ООН, попойки Петра Первого со штофом водки в виде Евангелия, не шли ни в какое сравнение с этими выходками. Самое отвратительное, что человек этот не испытывал ни малейшего стыда за содеянное. Холуйствующие журналисты, конечно, пытались дать какое-то вразумительное объяснение случавшегося, они договаривались даже до того, что советский человек, живший за железным занавесом, таким нецивилизованным способом выражает свою радость по поводу обрётённой свободы. Не в состоянии обуздать разнузданного хама, продажные перья клеветали на русский народ, испокон века живший в самой свободной стране мира, иначе откуда народилось в ней столько святых угодников и столько героев, совершавших подвиги самопо-



жертвования, когда дети – подростки без колебания шли на смерть за Родину. Для русских людей царь был помазанником Божиим, советский руководитель отцом, вождём и учителем, но никогда кабацким забулдыгой.

Петя слышал разговоры Внукова и деда о Ельцине и собрался ехать в Москву, чтобы не было потом больно, что он бездействовал, когда решалась судьба Родины.

Написав письма деду и Вале, он купил на вокзале билет до Москвы на ночной часовой поезд. Перед уходом из дома, он помолился перед иконой Богоматери Троиеручица, подарке деду от Внукова.

Сидя в зале ожидания, слыша радио объявления по вокзалу и грохот проезжавших время от времени товарняков, ему подумалось, что рядом с вокзалом находится епархиальный кафедральный собор и будет очень хорошо, если он благословится в дорогу у священника.

Время, конечно, позднее, но вдруг кто-нибудь в соборе есть.

Пробежав под Горбатым мостом по путям, Петя перелез через высокую церковную ограду. Как он и предполагал, собор был заперт, лишь в темноте одиноко мерцала неугасимая лампада.

В церковном доме по соседству с собором были квартиры священнослужителей. Петя долго давил на кнопку двери. Конечно, он делает неправильно, что ломится в чужую квартиру в такое время, но к священнику, говорил дед, можно, как к врачу постучаться, когда угодно в любое время.

Дверной звонок взбудоражил ночную тишину коридора по меньшей мере раз десять. Наконец, захрипел, заворчал отпиремый замок.

На пороге внимательно, скорее подозрительно смотрел на Петю седобородый старец с хлебными крошками в бороде. «Наверно ужинал. – подумал Петя, – от дела я его оторвал, – и с этой вроде бы вполне невинной мыслью в голову хлынул дикий поток глумливых анекдотов и частушек об обжорстве и склонности пьянству священнослужителей. Открыв-



ший дверь священник был очень заметным лицом в городе. Он состоял в многочисленных комиссиях, куда нынче охотно приглашали попов. Его служение разительно отличалось от манеры служения большинства священников. Возгласы у престола он произносил зычно, во весь голос. С такой интонацией как будто требовал исполнить просимое (хор на клиросе пел: -У Господа просим) или во всяком случае ожидал, что просимое он получит сейчас же. С такою страстностью он служил и Евхаристический канон. А проповедь он не говорил, а почти кричал, как будто хотел, чтобы его услышали и на улице. Пете не нравилась эта горячность, страстность, словно священник служит напоказ, актёрствует. У священника было и имя мудрёное – Эксакустодиан.

Петя несколько смутился от пронзительного взгляда, едва не сказал: «Простите за беспокойство» и не сошёл с крыльца.

– Вы к кому, молодой человек? – последовал вопрос.

– Батюшка, – пылко заговорил Петя со звуками голоса священника, освободившись от волнения. – В Москве происходят исключительные события, Ельцин..

– Борис Николаевич, – поправил его священник..

– Да, да, Борис Николаевич, – вынужденно повторил Петя, хотя ему было противно называть Ельцина по имени – отчеству. – Он издал указ, который противоречит конституции, которую сам в присутствии Святейшего Патриарха поклялся соблюдать. А он её нарушил и стал клятвопреступником. Он совершил противозаконный акт, с которым не согласился Верховный Совет. Все честные люди стоят на стороне Верховного Совета. Батюшка, благословите меня на поездку в Москву, чтобы я мог присоединиться к защитникам...

Петя в темноте не видел, как от его слов меняется выражение лица священника.

Сложив крестообразно ладошки, Петя протянул их к священнику.

– Церковь стоит вне политики, – огорошил его священник.

Петя замер в замешательстве. Слова эти были ведром холодной воды на его порыв.



– Когда преподобный Сергей благословлял благоверного князя на битву, он был вне политики? – заспорил Петя. – А когда Святейший патриарх был на церемонии вступления этого, – Петя чуть не назвал Ельцина, как обычно называл его дед, но остановился, – это тоже вне?

– Молодой человек, вы пришли спорить со мной?

– Нет, получить благословение. А вы отказываетесь...

– Я вам всё сказал, молодой человек, всего доброго, спокойной ночи, – сказал священник и захлопнул дверь перед самым Петиным носом.

Петя снова перелез забор, переходил пути. На лентах рельс лежали лаковые блики электросвета. В сердце Пети бушевало негодование. Не потому, что священник отказался благословить его, а потому, что, закрывая дверь, священник задел его полотнищем двери по лицу. А если б я стоял ближе?

Невоспитанность, да что уж тут, самое обыкновенное хамство. Должны же попы хоть чем-то отличаться от простых людей. Петя припустил бегом: по радио объявляли посадку на его поезд. «Говорят, что надо на себя первым делом посмотреть, – продолжал он думать в вагоне под колёсный перестук. – Но что я сделал неправильно. Поздоровался, всё объяснил».

Эти мысли перебивались думами о маме, бабушке, Вале, бабушке. Они ведь переживают, что он уехал от них. Заснул Петя только перед Ярославлем, когда фактически проехал половину пути. Всю дорогу его мучил длинный бестолковый, почти бредовый сон. Он бежит от врагов, и ни он убежать от них не может, ни враги догнать его. Да и не враги это вовсе. Он оглянется, а сзади бегут мальчишки и девчонки. Друзья детства, ребята, с которыми он когда-то играл в войну.

VIII

Указ Ельцина всколыхнул всю страну. Не мог остаться в стороне и Тиховодск. И в нём произошло разделение. Губернатор Горкин безоговорочно поддерживал сторону



президента, который и назначил его на этот пост (сплетники утверждали, что Ельцину он полюбился за высокий рост и за то, что в юности игрывал в волейбол, а по большому счёту, говоря военным языком, у него был потолок директора совхоза). Председатель же совета народных депутатов Равис, бывший районный прокурор, по прежней должности и по душевному устройению склонный держаться буквы закона, был верен Верховному совету.

В конце сентября 1993 года здание областного правительства было переполнено людьми. После октябрьских событий, когда игры в демократию закончились, на первом этаже, как в старые добрые времена, сидел дежурный милиционер, впускавший посетителей по пропускам, а в сентябре вход в здание был свободен, заходи, выходи, кто хочет. В вестибюле правительства толкучка была как на вокзале. На втором этаже бурлил бесконечный митинг. Говорили «за» президента и «против». Но, несмотря на всплески мыслей и чувств выступавших, общее настроение было – ожидание, что предпримет президент. Поступков ждали от него, у него в руках была власть.

Сам губернатор не часто спускался с десятого этажа на второй. Для связи с общественностью он использовал Алексея Скудомкина.

Скудомкин, когда он ещё учился в техникуме и когда мечты о будущем кипели в голове его как в котле, вдруг возмечтал стать государственным человеком. Он купил в «Политкниге» учебники диалектического и исторического материализма и читал их помимо техникумовского курса наук. Если с первым материализмом у него было полное согласие, то с историческим случались возражения. Он думал, что, видимо, что-то недопонимает, не может же учебник ошибаться. «Пойму потом» решал он, перелистывая вызывавшие его сомнения страницы. Он стал чаще выступать на комсомольских собраниях. Его приглашали для проведения политинформацией, он стал замечен. В конце учёбы в техникуме он, как и все ребята в группе, получил повестку в армию, где был комсоргом батальона. Его агитировали поступать в военное училище, но к воинской



службе он тяги не испытывал, да и чего он там достигнет, ну дослужится годам к пятидесяти до начальника политотдела полка, а дальше что? После демобилизации ему повезло устроиться лектором в обществе «Знание», вскоре он получил приглашение в отдел пропаганды и агитации обкома и радостно подумал: вот оно, началось. И в мечтах выстроил свою карьеру до секретаря обкома по идеологии, а там, глядишь и в ЦК попаду.

Но на должности лектора он и застрял. Причиной того, что он не стал государственным деятелем, было много, не поглянул он первому секретарю, человеку волевому властному, слегка и самодурному, Лёша был человеком правильным, умеренным и аккуратным, какие секретарю не нравились, по его мнению будь ты и дурак, но с особенкой. Он его как-то вызвал к себе, потому что ему все уши пропели о перспективном специалисте, а после беседы с ним отрезал: ни рыба, ни мясо, пусть сидит в лекторах. Кроме того, не преуспел Лёша в главной науке: где надо промолчать, где надо улыбнуться, забывал ежегодно посылать начальству и жёнам его поздравительные открыточки. Зато, когда правил Леонид Ильич, произносил Скудомкин не простое, плебейское «г», а «хг», при Михаиле же Сергеевиче зачёсывал свои волосы особым образом, на голове у него было, не такое, разумеется, обширное, но порядочное родимое пятно. Перед 91-м годом он успел из отдела пропаганды и агитации слинять в облисполком, так как в партии ловить стало нечего.

Сейчас он был помощником губернатора по разным мелким поручениям, что называется на подхвате. Губернатор через него распространял слухи. Скудомкин что-нибудь шепнёт в углу, через пять минут все только об этом говорят. От кого услышал? От Скудомкина. О, этот знает, он там, – собеседник закатывал глаза, – вес имеет.

Губернатор сказал:

– Передай, депутаты Верховного совета разграбляют кабинеты, готовятся выносить казённые компьютеры, множительную технику.



Кто-то из митингующих принимал это за чистую монету, кто-то не верил и открыто заявлял, что это враньё, но что-то у людей оставалось, по пословице: нет дыма без огня.

IX

С Ярославского вокзала Петя приехал на станцию Парк культуры, пошёл по Комсомольскому проспекту, перекрестился на нарядную церковь Николая Угодника в Хамовниках, мысленно послав поклон дому-музею Льва Николаевича, и остановился перед дверью старинного особняка с колоннами.

Только сейчас он подумал, как же он поехал? Не спросив ни одного имени, не заручившись ничьей поддержкой, он приехал в неизвестность. Как и кому он объяснит цель своего приезда и станут ли с ним разговаривать люди, которые ни сном, ни духом не знают о нём. «Ладно, – подумал он, – скажу, что я от Внукова, его знают, авось помогут».

Несмотря на ранний час, в прихожей особняка было много людей и по двум параллельным лестницам, ведущим наверх, ходили встречными потоками незнакомые ему люди.

– Гусев, где Гусев? – кричал седобородый мужчина. – Найдите Гусева, его ищет Ганичев.

– А я Проханова ищу.

– Он у Бондарева в кабинете.

Петя потерялся в этом крике, в репликах, которыми обменивались спешащие люди. У него мелькнула трусливая мыслишка вернуться на вокзал и – домой. Её сменила мысль сумасбродная, самому пробираться в Дом Советов.

Сверху шёл, взглядом искал кого-то в этой сутолоке, высокий плечистый дородный мужчина, похожий на Васнецовского богатыря, с открытым, широким русским лицом.

– Скажите, – робея, обратился к нему Петя. – Я приехал из Тиховодска, защищать Дом советов, советскую власть.

Мужчина, как показалось Пете, насмешливо глянул на него.



– Я, – сбивчиво пробормотал он, опасаясь, что его тотчас выставят за дверь, – я от Внукова Викторина Андреевича.

– Из Тиховодска, от Внукова? – словно в раздумье повторил мужчина.

– Послушай, – спросил он, – тебя не Петром звать?

– Да, Петром. – удивляясь, что человек, которого он впервые видит, знает его имя..

– Оо, тогда всё понятно, Внуков о тебе всем рассказал. Наш начальник, когда Внуков приезжает из Тиховодска, всякий раз о тебе спрашивает: ну как там наш Пётр поживает? Очень, очень рад тебя видеть, – мужчина протянул Пете большую, тёплую ладонь, обнял его, – Пётр, значит. За советскую власть. Это хорошо.

– Сергей Артамонович, – спросила мужчину девушка в свитере, – что о материале для «Советской России»?

– Да, да, я помню, – ответил девушке Петин опекун и продолжил разговор с ним. – Пойдём, посидишь у меня, чайку выпьёшь, я тебя со всеми нашими познакомлю.

– А вы, – Петя потом стыдился того, что он сказал, извиняя себя только тем, что любой человек поддаётся общему мнению, – Сергей Артамонович, вы пойдёте сегодня в Белый дом?

К его стыду Лыкошин ответил Пете теми же словами, какими он сам поправлял собеседника, если тот говорил: Белый Дом.

– Пётр, мы слава Богу, живём не в Америке, поэтому никаких Белых домов у нас нет и, даст Бог, не будет. А в дом Верховного совета мы как раз и собираемся, все придут, и пойдём. И ещё, ты парень взрослый, давай на «ты», зови меня просто Сергеем.

В кабинете Лыкошина Петя выпил два стакан чая, согрелся, потому что ледяной порывистый ветер не ослабел, с любопытством осматривал иконы, шкаф с книгами, порадовался, как родным, фотокарточкам Тиховодских писателей, о которых слышал, но не был с ними знаком. Василий Иванович, Александр Александрович, Виктор Вениаминович, приходивший недавно в институт и читавший свои стихи. Ему стало



тепло и хорошо здесь, он вспомнил город, родные улицы, Валу, деда, мать.

Петя сел за стол, заваленный книгами и какими-то папками, завертел телефонный диск, через несколько секунд Валин голос сказал:

– Петечка, здравствуй. Ты где?

– Где, где? В Москве. Глупый ребёнок. У меня всё хорошо, я в писательском доме, у Сергея Лыкошина. Передай всем, чтобы не волновались. Где ночевать буду? Да где-нибудь буду, не под забором же, – к кабинету кто-то шёл. – Ну всё, пока. Обними за меня маму и деда. Всё.

В кабинет зашёл Сергей Артамонович.

– Ну как, путешественник, – улыбаясь, сказал он.

– Большое спасибо, напился чая. И в Тиховодск позвонил.

Лицо Лыкошина омрачилось.

– Я не говорил тебе, что по телефону от нас говорить надо с особой осторожностью?

– Нет. А что?

– Нас подслушивают, поэтому нельзя называть ничьих фамилий, ни говорить о том, что мы собираемся делать, куда хотим идти и тому подобное.

– Я был очень осторожен, – заверил Петя Сергея.

– Я так и думал. Ты у нас умный мальчик. Пойдём, познакомлю тебя с нашим командиром.

Из кабинета Лыкошина через смежную, длинную и узкую комнату они перешли в просторный кабинет со столом для заседаний справа. За столом в правом углу, заваленном книгами, с портретом Пушкина и адмирала Ушакова на стене, сидел худощавый седой пожилой мужчина с испытующим взглядом.

– Юрий Васильевич, – сказал Лыкошин, выводя Петю перед собой. – Представляю главное действующее лицо рассказов Внукова: Пётр из Тиховодска.

Мужчина, смотревший на Петю вежливым взглядом как на обычного посетителя, радушно улыбнулся, протянул Пете руку, похлопал по плечу.



– Рад, очень рад. Викторин Андреевич говорил не раз о тебе, что растёт настоящий русский человек, который любит Россию не за что и не вопреки чему-то, а просто потому, что она есть. Ну как дела в Тиховодске?

Юрий Васильевич сел за длинный стол, показал на стул напротив.

– Василия Ивановича не видел? Викторин Андреевич звонил вчера, говорил, что приехал бы, но погода-то вон какая, опасается за свои лёгкие, как бы пневмонию не подхватить. Октябрь у нас обычно сухой, даже тёплый, такой непогоди давно не было.

Петя не сводил глаз с говорившего, ловил каждое его слово. Подумать только, он видит автора великого «Горячего снега».

– Юрий Васильевич, как насчёт вечернего разговора? – спросил Лыкошин..

– Самые худшие предположения.

– Неужели он решится?

– Похоже, да.

Смысл этого разговора Петя понял позднее, в Доме Советов.

Валя обзвонила всех и в тот же вечер все опять собрались у Внукова. Валя записала разговор с Петей на диктофон, и все слышали его голос.

– Не била его никогда, – сказала Светлана Владимировна, – один раз шлёпнула рукой по заднице, так сама потом и ревела. А сейчас вернётся, выпорю, как сидорову козу.

– Так тебе и дадут пороть народного героя, – сказал Внуков, – он вернётся с лавровым венком на голове, а ты его ремнём.

– Только бы вернулся, только бы вернулся, – как заклинание несколько раз повторила Светлана.

– Я позвоню Бондареву, пусть присмотрят за ним, – сказал Внуков.

– Надо бы как-то денег ему переслать, он копейки с собой взял, – сказал Животов, – чтобы там нахлебником не был. Да мало ли что в жизни бывает. Я по своей линии тоже позвоню кое- кому, проследят за ним. – Он вдруг улыбнулся.



– Что такое? – спросил Внуков

– Вспомнилось, – сказал Животов, – Ты сказал, что Петро ещё мальчишка. А он взял с собой нож с зелёной наборной ручкой. Он в детстве, когда в разведчиков играл, его брал.

– Теперь будем ждать, когда снова позвонит, – сказала мать.

Х

Петя представлял себе защиту Верховного Совета как романтическое приключение. Действительность оказалась, как и водится, куда прозаичней и скучней. Первый порыв, который сорвал его из родительского дома, угас, остыл. Он иногда подумывал вернуться в Тиховодск, одно опасение, что его примут за дезертира, слабака и труса, удерживало его. Он полагал, что ему сразу выдадут военную форму, вооружат автоматом и он будет и днём и ночью отбивать атаки ельцинистов, стремящихся захватить и разогнать Верховный совет. Вот враги наступают, вот они обошли наших, уже нет сил держаться, на исходе патроны и гранаты. И тут неожиданно появляется он. Меткими очередями он обращает врагов в бегство. «Но как же, – задумывался Петя, – это же наши русские, бывшие советские люди, какие же это враги? Как по ним стрелять?» Тогда назовём их противниками или ещё лучше обманутыми. Они не знают, где правда, они обмануты. Недаром Эдуард Фёдорович Володин говорит, что они боятся дать нам телеэфир. Если бы дали, тогда народ бы узнал, что правда на нашей стороне. И вот в решающий момент появляется он, обращает обманутых в бегство и потом сам генерал Владислав Алексеевич Ачалов прикрепляет ему на грудь медаль, нет, лучше орден и, он становится самым молодым в стране...

Каким орденом наградил его Ачалов, Петя ещё не решил, поскольку многие советские ордена были упразднены, но автомата ему не дали, потому что вооружались строго определённые люди, а гранаты он в глаза не видел.



Володин и Лыкошин заведовали малосильной радиостанцией «20-й этаж» с весьма ограниченным радиусом действия. Их задача была, насколько это возможно, говорить правду о происходящем в Доме Советов. Также Лыкошина с Володиным, или их порознь привлекали, когда Хасбулатову и Руцкому требовалось составить какой-нибудь важный документ или воззвание.

А он целыми днями сидел в комнатухе радиостанции, читал газеты или бродил по коридорам этажа. На улицу он выйти не мог, у него не было пропуска, поскольку он не был внесён ни в один из списков, по которым оформляли пропуска.

– Ты у нас ничей, приبلудный, – сказал Володин, – тебе пропуск не положен.

В первую неделю Петя пережил несколько неприятных, обидных и даже оскорбительных дней.

И кто же обидел его? Эдуард Фёдорович Володин, умом которого, умением сформулировать просто и доходчиво любую сложную мысль, понятие, Петя восхищался. Историк и философ, человек серьёзный и основательный, Володин любил пошутить, понасмешничать над человеком новым. И с первых дней принялся вышучивать Петю. Назвав его Гаврошем, он только так и называл его. Сначала Пете это понравилось, даже было лестно, что его сравнивают с героем Гюго. Привыкший к тому, что люди гораздо старше его относятся к нему уважительно и даже с восхищением, Петя принимал эту манеру разговора, как особое доверие, расположение к нему. Но когда Гаврош повторялось чуть не каждую минуту, это стало надоедать и раздражать. Он понял, что Володин мало считается с ним, считая его посторонним парнем, случайно затесавшимся сюда.

Он мечтал о подвигах, а тут мало того, что его используют как мальчика на побегушках, так ещё и насмешничают. Он уже мечтал, чтобы к нему обратились по имени, а Володин однажды спросил его (Петя не помнил в связи с чем):

– Гаврош, ты не помнишь, когда была стычка при Фермопилах?



Володин спросил попутно, для справки, а обиженному самолюбию Пети почуялась в его словах насмешка, недаром же бессмертный подвиг царя Леонида профессор назвал пренебрежительно стычкой. И опять «Гаврош». У меня же имя есть.

Слёзы навернулись на глаза. Петя, подавив спазм плача, ответил:

– В четырёста восьмидесятом году до нашей эры.

– Пётр, ты что? – Лыкошин поднял голову, пристально посмотрев на Петю.

– Ничего, – с усилием удержав на краях ресниц слёзы, ответил Петя.

– Нет, нет, не ничего, – уловив в голосе Пети необычные интонации, возразил Сергей. – Ну -ка выйдем на минутку. Эдик, посмотри тут, мы не надолго.

В коридоре было значительно холоднее, чем в комнатке радиостанции, изо рта говорящих вылетал парок.

– Что случилось? – спросил Лыкошин, глядя на Петю своим добрым, но испытующим взглядом.

– Ничего не случилось?

– Пётр, мы не в детском саду, мы взрослые люди. Говори быстро, у нас нет времени, я вижу, с тобой что-то происходит. Ты здоров?

– Здоров, – начиная дрожать то ли от холода, то ли от необходимости говорить правду, сказал Петя.

– Тогда что?

Петя глубоко вздохнул и, зажмурив глаза, сбивчиво высказал свою обиду.

– Вон оно что, – сказал Лыкошин, – За Эдиком это водится, я поговорю с ним. Запомни, сейчас не время личных обид.

Они вернулись назад.

– Поговорили? – Володин кивнул в направлении стола, – Тут, Серёжа, два звонка были, надо обсудить, что отвечать.

– Эдуард Фёдорович, – сказал Петя. – В Фермопилах лежал камень с надписью:

Путник, пойди, возвести нашим гражданам в Лакедемоне,
Что, их заветы блюдя, здесь мы костями полегли.



И ещё одна надпись:

Ибо, стремясь защитить от неволи родную Элладу,
Пали мы, этим себе вечную славу стяжав.

– Я же всегда говорил, что ты, Пётр, молодец у нас, – догадавшись, что речь в коридоре шла о нём, сказал Володин.

Задержавшись на шестом этаже, куда он сбегал перекусить (есть хотелось постоянно, молодой организм требовал много топлива, питание хоть и бесплатное, было скудным, только, чтоб не умереть с голода), Петя стал свидетелем разговора.

– Слушай, Сергей, – сказал Володин, – куда Гаврош наш пропастился. Срочно нужен. Что за недисциплинированный парень.

Петю бросило в жар: опять Гаврош. Володин теперь называл его только Петром, но в душе-то он для него по-прежнему Гаврош.

– Эдик, – раздался рассудительный голос Лыкошина, – я прошу тебя: забудь Гавроша. Петя замечательный паренёк.

– Ничего себе паренёк, – перебил Володин. – Парень, юноша, призывник, я недавно на руки его голые посмотрел, когда он переодевался, всё там у него на месте. Играет там кое-что и не плохо. Не Шварценеггер, тьфу ты, понеси его леший, привязалась американщина, как Иван Поддубный или Юрий Власов, но всё там у него будь здоров, врежет, так позабудь про докторов (Петя гордо пощупал бицепсы), а я-то думал какой-нибудь хлюпик, маменькин сынок.

– Я тебя, как друга, прошу, – продолжал Лыкошин, – забудь Гавроша, ему это очень обидно, до слёз.

– Ну нечаянно, или, как говорит внучка, нечаявно. Сказал, так он не слышал, – пробурчал Володин, – Но парень, как ты правильно заметил замечательный. С такой памятью, с таким объёмом знаний, он далеко пойдёт. Ведь, что ни спроси, мигом готов ответ. Полный и важное – точный. Я одно время проверял его, а потом бросил, ни разу он не ошибся.



Петя громко затопал, отворяя дверь.

– А-а. Лёгко на помине, Пётр Великий, – воскликнул Володин. – Скажи-ка нам, юный друг, куда вы отлучались без позволения начальства?

– Я сходил поесть, – слегка покраснев, ответил Петя.

– А вы помните евангельское правило: не работающий, да не ест. Откуда, кстати, это?

– От солунян, второе послание, глава третья, стих десятый, – ответил Петя.

– А Вы поели без спроса, и тем заставили двух человек с университетским образованием, подумать о вас...

– Хватит, Эдуард Фёдорович, – прервал его Лыкошин, заметив, что Петя краснеет сильнее. – Хватит человека в краску вгонять.

XI

Дом Советов, как героический Ленинград, находился в осаде, в блокаде. Обличители сталинизма, борцы за свободу и права человека отключили в нём электричество, отопление, водопровод и канализацию. Но как Ленинград выжил, выстоял, благодаря Дороге жизни, так и Дом Советов выжил, благодаря ручейку жизни, который не пересыхал в эти дни. Это установил учёный А.В. Островский, и он же высказал веское предположение, что кому-то было нужно, чтобы Дом Советов был жив, не умер прежде времени. Каждый день в него подвозили продовольствие, но в таких размерах, чтобы не возник настоящий голод.

Питаясь скудно, люди испытывали физические муки. Было бы неправдой сказать, что муки моральные были ещё тяжелее. Нет страшней и невыносимей мук голода, поэтому игра словами неуместна.

Но муки моральные были.

Чтобы внести раскол в ряды депутатов Верховного Совета, прибегли к старому, как земля Эллады, приёму. На греческой земле родился афоризм, что, если при осаде крепости бесси-



лен таран, надо послать туда бочонок с золотом. Тем депутатам, которые соглашались сложить с себя полномочия и выйти из Дома, обещали крупную денежную сумму, квартиру в Москве и прочие льготы. И такие люди, продававшие волю своих избирателей, находились.

Вопреки провозглашённой свободе слова, телевидение, радио и газеты лгали: называя сторонников соблюдения конституции мятежниками, а президента, поправшего Конституцию, которую он клялся соблюдать, нарушителя закона, представляли правой стороной.

Ратуя за то, чтобы народ знал правду, Верховный Совет отпечатал массовым тиражом листовки, в которых популярно излагалось истинное положение дел. По почте отсылать продукцию было бессмысленно, она осталась бы лежать на привокзальных складах. Выход был один: доставлять слова правды автотранспортом.

В редакции «Правды» загружен был РАФик¹⁶ и в Тиховодск.

Руководителем поездки, организатором был назначен, черноглазый, плотно сбитый, боевой, подвижный, заряженный оптимизмом, как аккумулятор электроэнергии, помощник председателя областного совета депутатов, бывший комсомольский работник Федосей Маков. Уроженец одного из северных районов области, в котором издревле и по сей день младенцев нарекали Федосеями, он был работником на все руки.

Покончив с оформлением документов, он сел в кабину и, хлопнув водителя по плечу, спросил:

– Готов?

Шофёр, зарядившись от него бодрым весельем, ответил:

– Всегда готов!

– Тогда вперёд и ни шагу назад!

¹⁶ РАФ (аббревиатура от Rigas Autobusu Fabrica) Рижский автомобильный завод в Латвийской ССР, основан в 1949 году, в г. основное производство переведено в г. Елгаву, обанкротился в 1997 г. Обратите внимание, каковы «оккупанты»: строили в «оккупированной» стране заводы, давая работу сотням людей и обеспечивая от продажи продукции на экспорт валютные средства в республиканский бюджет.



Новенький, сверкающий белой эмалью, сошедший совсем недавно с конвейера в Елгаве, городе независимой ныне Латвии, РАФик выехал со двора издательства и влился в бешено мчавшийся по московскому проспекту поток автомашин. Долго ехала шустрая машина по городу, стояла на светофорах, срывалась с места, пока, наконец, слева не мелькнул в окне титановый памятник покорителям космоса, скульптура Веры Мухиной «Рабочий и колхозница», и колёса латышской железной лошадки стали привычно убирать под себя серую ленту шоссе километр за километром.

Меньше чем через час домчались до Сергиева Посада. В придорожной кафешке с видом на голубые с золотыми звёздами главы Успенского собора перекусили и двинулись, чтобы не останавливаться до самого Ярославля.

Летит отважная машина, а над головами, сидящих в ней, собираются тучи.

Боясь правды, в окружении президента был разработан и правительственной связью разослан на места циркуляр, которым оповещалось о машинах с нежелательным грузом. Предписывалось машины останавливать, груз изымать и уничтожать. Листовки и газеты тысячекратно уступали возможностям лгавших народу телевидению и радио, но недаром говорится, что правду охраняют батальоны лжи. Чтобы не дать ей пробиться к народу, на пути её возводятся прочные преграды.

Уничтожить комуняцкую макулатуру было хорошо, но ещё лучше припугнуть комуняк хорошенько, чтоб надолго запомнили. Да сделать это посторонними руками. Но как найти такого человека. Человек такой в Тиховодске был. Но как хитро поручить ему это щекотливое дельце?

Воспользовавшись хаосом перестройки, ослаблением закона и попустительством властей, определённый сорт людей нажил капиталы несправедливые и не хотел никаких изменений, однозначно встав в разгоревшемся конфликте на сторону Ельцина.

В Тиховодске таким был некий Шкуров. Высокого роста, широкоплечий, с румянцем в обе щеки. С первого взгляда так и подмывало от души воскликнуть: не перевелись добры мо-



лодцы на русской земле. Но второй взгляд заставлял насторожиться. Что-то грубое, хамское, неотёсанное читалось во всём облике, что-то звериное, немилосердное сквозило в чертах его лица. Такой без сожаления, мимоходом может оскорбить женщину, обидеть ребёнка, и это просто так, потому что хочу. Все, кто сталкивался с ним по делу, предпочитали больше не сотрудничать, не связываться с ним.

В событиях вокруг Дома Советов Шкуров сразу принял активное участие. Он отправил в Москву отряд своих сторонников. В надвигавшейся неразберихе пусть пошустрят в Москве, при случае если что и украдут, а коли и пришьют какого-нибудь кому-няку, так это им практика. Надо дать щенкам почувствовать вкус крови, тем более, что сейчас это можно делать почти легально.

Шкурову давно хотелось заявить о себе в политике, он даже надумал издавать газету «Народное движение», не подозревая, что все, у кого намерения не чисты, любят прикрываться народом. Непримируемые враги славян именно так называли свои газеты. Кому из историков неизвестны: «*Volkischer Beobachter*» и «*Poppolo d Italia*»¹⁷.

Шкуров отдыхал в каминном зале своего загородного дома, когда зазвонил телефон.

Звонили из областной администрации. На вопрос, откуда именно, ответ последовал уклончивый, однако с прозрачным намёком, что с самого верха. Говорил женский голос. Он же сказал, что к нему едет человек с очень важным и конфиденциальным разговором.

«Как неожиданно и красиво извернулась судьба, – думал Шкуров, покуривая у камина. После чтения в детстве «Принца и нищего» он всю жизнь ждал счастливого случая, который должен вознести его к славе, богатству. Сначала все его ставки рушились. Говорить правду, как приличествует настоящему принцу, оказалось невыгодным, ребята не хотели с ним дружить, а порой и поколачивали его, что сделать было не про-

¹⁷ *Volkischer Beobachter* (Народный наблюдатель) и *Poppolo d Italia* (Народ Италии) – газеты издававшиеся в фашистской Германии и Италии..



сто, он рос сильным и ловким подростком. Так же миновали, не принеся успехов, попытки стать самым сильным, красивым. В годы отрочества и юности с его гордым, самолюбивым, авантюрным нравом он ходил по острию бритвы, от зоны не раз его спасал отец, занимавший видный пост в областном УВД.

Но всё же он попух, залетел на таком деле, что и отец оказался бессилён.

Клеймо было поставлено, жизнь, казалось бы испорчена навсегда, но тут расцвела перестройка, полетели под откос ограничения, запреты, стало возможным раскрутиться, проворачивать такие дела, о каких раньше и не мечталось. Он мотался по деревням, скупал клюкву, бруснику, сушёные грибы, нашёл поставщиков в Москве, которые щедро платили за экологически чистый продукт. В долгих скитаниях он не обходил стороной заброшенные избы, брал в них всё. С годами у него скопились кучи всякого барахла. За плату он нанял специалистов, которые всё рассортировали, классифицировали. Так он стал обладателем одной из крупнейших коллекций народного прикладного искусства. Деньги шли со всех сторон и скоро у него на банковском счету лежали сотни тысяч, его приглашали на выставки, симпозиумы, он наблатыкался говорить с учёными, докторами наук на их языке, выпускал каталоги, ездил за границу.

Грабёж, за который он отбывал срок, превратился в его устах в вызов существовавшей системе, в инакомыслие. Хорошо подмазанный журналист из областной газеты тиснул о нём благоприятную статейку, он приобрёл ореол гонимого и свысока смотрел на тех, кто осмеливался попрекать его судимостью.

Потягивая из бокала через соломинку сок, Шкуров самодовольно улыбнулся. С его состоянием, репутацией, конечно, было ребячеством предаваться бесполезным воспоминаниям, но воспоминания были приятны. Генералу приятно вспоминать себя молодым лейтенантом.

Однако Шкуров не только чистил пустовавшие избы; общаясь со специалистами, он учился, повышал свой уровень, и как-то в деревне попросил у оглохшей и полубезумной от



маразма старухи показать ему книжку, на которую она ставила сковородку. Глянул и закусил губу, но не подал вида. Это был прижизненный Гёте. Он взял его у старухи за связку баранок – сушки, иронично подумав, что некогда мореплаватели за нитку дешёвых бус брали у индейцев жемчужины или слитки золота.

На лестнице послышались шаги посланца из администрации. Едва тот зашёл, Шкуров вспрыгнул из кресла и они обнялись как братья, тиская один другого в объятиях: когда Шкуров недолго отирался в обкоме комсомола, Алик Васнецов, зав. сектором оборонной работы (всё они от кого-то обороняться собирались, а кому вы были нужны?) был его начальником.

– Ну, Алька!

– Ну, Миха! – минут пять только и восклицали они. Алик за эти минуты подметил, что друг – Мишка одет в дорожную рубашку, от него веет (в комсомольские годы он бы сказал: воняет) изысканным парижским одеколоном и вся обстановка в комнате словно перенесена из боевика, когда показывают апартаменты супермафиози, всё умопомрачительно дорого, но со вкусом, оформитель (по-современному дизайнер) потрудился на совесть.

Первые полчаса пролетели в дружеских тостах и воспоминаниях, как они гужевались в обкоме, как проводили разные мероприятия, пионерско-комсомольские игры на свежем воздухе, и как потом, когда пионерско-комсомольская массовка разъезжались, они славно кутили.

– Да, есть что вспомнить, – элегически протянул Шкуров и в лоб спросил. – Зачем приехал?

Алик улыбнулся, и вроде бы ни к селу, ни к городу спросил, читал ли он «Мастера и Маргариту» Булгакова.

– Читал, правда, половины там не понял.

– А помнишь разговор Пилата с начальником тайной службы?

– Ну-ко, напомни.

Алик напомнил и опять-таки ни к селу сплёл историю, что из Москвы в один город ехала машина с ненужными бумагами.



И машину эту протаранил самосвал, бумаги в машине, ну газеты там всякие, листовки сгорели, но заинтересованные люди об этом не горевали, а даже наоборот. И хорошо заплатили.

Смышлёности Шкурову было не занимать, он спросил Алика, какова могла бы быть марка машины, что в ней особенно-го. И что было хозяину самосвала от тех самых лиц.

Эта полудетективная история, в перспективе имевшая быстрое завершение с предсказуемым результатом, закончилась однако не так, как планировали её авторы. Так бывает и в жизни государственной. Заговор, направленный на разрушение и подчинение государства, распланирован с точностью до мелочей, проверен на компьютерах, опробован на тайных совещаниях, где, как на штабных играх, проанализированы могущие возникнуть варианты тех или иных событий, на местах расставлены нужные люди, предатели купленные и предатели идейные, и всё ломает один честный человек, песчинка, попавшая в шестерёнки отлаженного механизма. Механизм всё же сработал, но та пробуксовка, заминка дала возможность что-то изменить, и потом пусть медленно, но начать восстановление утраченного. Громко сказано – честный человек, нет, слабый, обычный, просто исполнивший то, что ему предписывалось, но шестерёнки начали буксовать.

О разговоре Шкурова с поклонником Булгакова стало известно в Тиховодском комитете. Честный человек передал это сообщение в область южнее Тиховодской, и попросил помочь белому РАФику.

Наутро после разговора про Пилата и Афрания с одной частной автобазы в Тиховодске выехал с двумя бетонными блоками в кузове ЗИЛ 130-й с чётко поставленной шофёру задачей. На шоссе между Даниловым и Тиховодском есть тихие, глухие участки шоссе, где могут столкнуться две машины и одна из них загорится.

В большом городе на Волге информация о булгаковском разговоре и о ЗИЛ-130 была оценена по достоинству.

Федосей Маков был сильно озадачен, когда за мостом через Волгу его остановил гаишник. Внутренне ошетинившись,



от гаишника ничего доброго не жди, он сказал шофёру свернуть на обочину. Первое, что насторожило Макова – у гаишника было не гаишное лицо. Объяснить это чувство Маков не мог, но сердце не обманешь. Второе, человек этот назвал такую фамилию, после которой Федосей Васильевич возымел к нему полное доверие, лишних вопросов не задавал, а очень старательно следил, какой маршрут показывал ему этот человек на расстеленной в кабине РАФика карте.

Долго и попусту ждал, укрывшись за придорожными густыми зарослями кустов ЗИЛ-130, шофёру которого за выполнение задания был обещан хороший куш. Смелый РАФик, миновав окольными просёлками засаду, к вечеру уже подъезжал к Тиховодску, где его ожидали другие испытания.

XII

Владыка Михей позвонил прямо в редакцию. Ширков сразу узнал его голос.

Владыка извинился, что беспокоит, попенял, что Ширков забыл его, загордился, должно быть, не хочет знаться со стариком (Ну что Вы, что вы, Ваше Высокопреосвященство, – оправдывался Ширков), а поговорить хочется, и пригласил в епархиальное управление. И сказал взять с собой рюкзак или большую сумку.

Управление не так давно справило новоселье, из старого полусгнившего деревянного здания переехало в двухэтажный же, но каменный дом, несравненно более чистый, светлый и удобный, нежели та развалюха, в которой управление ютилось с 1945 года. В царское время у архиерея было своё подворье, но о возврате туда можно было лишь мечтать. В двадцатые годы после разгрома епархии, в подворье вселился краеведческий музей со своими фондами. Музей ведь на улице не выбросишь.

Ширков пришёл раньше времени. Архиерей ещё не приехал, его ждали с минуты на минуту.



Чтобы не сидеть в приёмной, Ширков вышел на галерею между этажами, на стенах которой висели портреты архиереев, когда-либо управлявших епархией. Портрет владыки Михея был хорош, изумительно передано портретное сходство и душевное состояние. Видно, что человек о чём-то думает, а не просто для антуража в правой руке, используя палец в качестве закладки, держит книгу, а левой рукой, слегка касается виска дужкой очков. «Мыслитель, мыслитель», – похвалил в душе портрет Ширков. Были неплохи, но гораздо слабей по художественности портреты архиереев первых послевоенных лет, но портреты архиереев XVII–XVIII–XIX веков не выдерживали критики: они были все на одно лицо, отличаясь друг от друга цветом митр, омофоров и панагий. О подобном явлении Ширков читал у Н.С. Лескова, но читал давно и вспомнить, где читал, не мог.

Внизу хлопнула дверь, зашаркали чьи-то шаги, сменившиеся непонятными прыжками на лестнице. Ширков перегнулся за решётку, обходившую антресоли, и прикусил хотевший было засмеяться язык. Владыка Михей, которому зимой весь православный люд отметил 80-летие, бежал по лестнице. Но бежал не как рядовой гражданин, а как архиерей, спина выпрямлена, каждый шаг чётко, и нога полностью становится на ступень. Всё отработано, размеренно и исполнено.

Чтобы не смущать бегущего старика, Ширков открыл было дверь в приёмную, чтобы встретить его там, но был остановлен возгласом:

– Владимир Леонидович, Вы куда? Архиерей стремится к вам весёлыми ногами, а Вы стремитесь от него. Или Вас смущает бег старца?

Ширков, как школьник, которого застали за шалостью, промышчал нечто невразумительное и, отпустив дверную ручку, подошёл под благословение.

Кабинет Владыки ничем не отличался от кабинетов разных завоёв и замов, каких насмотрелся Ширков: стол с телефоном и ворохом бумаг, перпендикулярно к нему длинный стол для совещаний. Только в тех кабинетах на стенах рань-



ше висел Ленин, а теперь Ельцин, а во владычном кабинете – большой образ Христа Пантократора и портрет Святейшего Патриарха. И ещё объёмистый книжный шкаф, в тех кабинетах, как правило, не присутствующий.

– Здравствуйте, уважаемый Владимир Леонидович, – усаживаясь за стол, говорил Владыка, – давненько мы с вами не виделись, давненько, с полгода, я полагаю.

– Не полгода, меньше, – отговаривался Ширков.

– Вы зря спорите с правящим архиереем, – шутливо заметил Владыка, – у него всё зафиксировано, – Владыка, встав, полистал перекидной календарь на столе. – А-а, вот записано «Ширков В.Л.», это было весной. Вы собирались ехать в деревню, заниматься посевной кампанией. – Владыка рассмеялся коротким смешком. – А как уборочная кампания? Каков урожай?

– Слава Богу, картошкой на зиму семью обеспечил.

– А что вы скажете относительно московских событий, что говорят писатели, журналисты?

– Что говорят. Все возмущены, относительно свободы слова продолжается игра в одни ворота, все недовольны. Но что сделать могут? Ничего. И областные власти на поводу идут, представитель президента, зампредседателя народных депутатов, публично называет врагом народа, организует манифестации студентов с флагами в поддержку президента. А студенты, люди зависимые, им экзамены да зачёты сдавать, они и идут. Это не во Франции, машины переворачивать да баррикады строить, у нас живо из института вылетишь и пойдёшь на рынке селёдкой торговать.

– Я хочу Вас, Владимир Леонидович, несколько успокоить. Это конфиденциальная информация, но Святейший Патриарх намерен предпринять шаги по разрешению ситуации. Важно, чтобы люди встретились, поговорили, обсудили, кто чем недоволен, высказали взаимные претензии. И я думаю, надеюсь и молюсь, чтобы до машин и баррикад дело не дошло. Вместе с тем, Владимир Леонидович, я хочу сказать несколько, может быть, для Вас неожиданных от архиерея,



слов о советской власти. Вы сами понимаете, я не был в восторге от неё. Как архиерея, меня угнетал надзор государства над деятельностью Церкви, надзор такой мелочной, что превращался в удушающий гнёт. Но особенно меня раздражал и унижал институт уполномоченных. Ни в одной стране такого нет. И, как правило, да нет, не правило, а не встречал я среди уполномоченных людей культурных, образованных, умеющих себя вести. Я в горном институте делал замечания студентам о неправильностях их речи, а здесь извольте слушать о средствах, документах, портфеле, коридоре. Почему, откуда взялся этот звук «л», если во французском слове отчётливо слышится не один, а даже два звука «р», *corridor*. Я могу быть недовольным советской властью, как архиерей, но как частное лицо, я считаю, что она имеет в дебете два великих деяния. Я имею в виду деяния мировоззренческие, общецивилизационные. Советская власть сломала человеческое изобретение – сословные перегородки, при наличии которых человек одним фактом своего рождения получал перед другими людьми права и привилегии. При советской власти происхождение не принималось в счёт, человек всего добивался своим умом и трудом. Вторая заслуга. Ликвидация угнетения человека человеком. Наши либералы говорят, советская власть частный капитализм заменила государственным. Дескать, ничего нового, заменили одно на другое. Нет, нет, и нет. Разница громадная. В частном капитализме присутствует человеческий элемент, со всеми пороками человека. Человек – государственный собственник, ограничен рамками закона, он не имеет личного мотива. Работник тут более свободен, а у частного собственника он находится на положении раба, зависит от прихотей хозяина. Недаром при крепостном праве в России государственным крестьянам жилось легче. Государственный капитализм предпочтительней хотя бы потому, что он безличен, не капризен.

Речи владыки Михея в защиту советской власти, были довольно экзотичны, но Ширков слушал их с интересом, сам он об этом не помышлял.



– А теперь от слов перейдём к делу, – неожиданно сказал владыка. – Вы взяли с собой, что я просил?

– Да взял, но хотел спросить...

– Простите, Владимир Леонидович, я не знаю, как вы к этому отнесётесь, епархия выделила вам часть гуманитарной помощи, которая поступила в наш адрес. Вы возьмёте её?

– В чём она заключается? Если в одежде или...

– Нет, нет, – возразил владыка. – Это продукты. Мясные консервы. У вас ведь семья. Возьмёте?

– Не откажусь.

– Вот и прекрасно, а то я ожидал другого, – Владыка снял трубку, позвонил на склад, распорядился...

– Документы какие-нибудь нужно предъявить?

– Никаких, Владимир Леонидович. В этом учреждении моё слово заменяет паспорт.

– А партбилет? – в первый раз решился пошутить с Владыкой Ширков.

– Смотря с каким стажем, – отшутился Владыка, – желательно с сентября сорок третьего года.

– Когда была ВКП(б)?

– Да.

– Но я тогда ещё не родился.

– Из Германии помощь пришла, – сказал Владыка. – По пятьдесят банок консервированного мяса на человека.

– Это они нам в отместку послали, – быстро сказал Ширков. – Видно, до сих пор простить не могут, что какие-то Иваны, которых эти белокурые бестии (– Bestia на латыни – зверь, – сказал архиепископ) хотели обратить в рабов, не только их расколошматили, но детей их в Берлине кормили.

– Любопытное замечание.

Не выходя из здания, Ширков спустился в подвальный этаж. Там, расписавшись в какой-то ведомости, он получил – 50 цилиндрических банок, полтора килограмма тушёнки каждая.

В рюкзак вошли две коробки по двадцать банок, Оставшиеся 10 банок он разместил так: по банке сунул в карманы пальто, а оставшиеся уложил на коробке в рюкзаке. Сам он



надеть рюкзак не смог, ему помогли женщины на складе. Почувствовав тяжесть на спине, он пожалел, что не похлопотал о редакционной машине: тяжесть оказалась приличной. Складские женщины тревожно глядели ему в глаза.

– Унесёте?

– Может за два раза? – спрашивали они.

«Нет таких крепостей, которые не могли бы взять трудящиеся, большевики!» – вспомнив шутку о партбилете, подумал он, выпрямил спину и шагнул к лестнице.

Уже перед дверью, ведущей из подвала на улицу, он услышал слова третьей женщины, сидевшей на табуретке у стены и макавшей в кружку сухарь:

– Унесёт, бугай здоровый. Мне мать сказывала, они в войну не такое на горбу таскали, – сказала она без нотки сочувствия.

Жил Ширков от епархии поблизости, дойти три квартала до церкви Власия, а там, считай, уже дома, только двором пройти, но путь оказался так тяжёл, что Ширков едва не подумал малодушно: *via dolorosa*, но сразу отогнал это: нашёл с кем сравнивать. Он обливался потом, ноги дрожали, он брёл, как старик, оправляющийся от инсульта, приставляя ногу к ноге и даже волоча одну из них. Досаждала злобная банка, съехавшая вниз и давившая острой гранью на ребро. Но снять рюкзак, чтобы поправить её, он не мог, иначе не удастся вновь взворотить его на горбину. Взамен *via dolorosa* он стал вспоминать марш – броски, которые они бегали в школе сержантов каждый четверг. В любую погоду. Что-то не помнится ни один пробег в дождь. Всегда это был солнечный и обязательно знойный день, ибо броски проводились перед обедом, во втором часу дня, когда солнце жарит во всю. И вот бежит он с автоматом или ручным пулемётом товарища, который на втором километре начинал «сдыхать», с вещмешком, сапёрной лопаткой, флягой и, (чёрт бы его побрал!), с противогазом, который всё время съезжал вперёд, под живот и страшно мешал бежать. Бегут они, топчут в кирзачах прибалтийскую пыль, пот катит с них ручьём, а с боку бежит старший лейтенант (в будущем генерал) в лёгких, ладных, по ноге хромачах, с ко-



мандирской сумкой на боку и, поглядывая на строй чёрным взглядом своих ястребиных глаз, весело покрикивая, подгоняет отстающих. На бегу он снимал фуражку, вытирая чистым носовиком пот со лба. Да, взводный всегда бегал с ними маршброски, не отлынивал, не посылал вместо себя помкомвзвода, как это делали другие.

На светофорах Ширков отдыхал, опускал безвольно руки, чтоб они висели бельевыми верёвками, как у парализованного, медленно, глубоко дышал, ни о чём не думая и отключая сознание, пока не мигнёт приглашающе зелёный глаз.

А вот и церковь Власия, знакомый двор. Теперь подняться на пятый этаж. Идти размерено, медленно, но ритмично.

Прежде, чем совершать подъём на пятидесятиэтаж, он сел на ступеньку крыльца, пристроив рюкзак таким образом, чтобы ослабили лямки и отдохнули плечи.

Соседу с третьего этажа, сказавшего что-то ободрительное, он проворчал обычное в подобных случаях «Своя ноша не тянет», чуть не добавив землекопское «Запас...», но воздержался.

Взойдя с остановками, с восминательными армейскими паузами на пятый этаж, отпер дверь, содрал с плеч лямки и рухнул на кровать: в висках его бушевал шторм, кровь как перенапряжённая вода на площадке сброса ГЭС билась о стенки сосудов.

На другой день Маргарита попросила для кого-то пять банок.

Вспомнив строку из тропаря: Туне приясте, туне дадите, он сразу согласился.

XIII

Первая неделя противостояния Верховного Совета и президента прошла в словесной борьбе. Одна сторона доказывала свою законность и всячески третировала другую. Верховный совет обращался к местным властям, к командующим



военными округами. Во главе округов стояли обычные люди, прошедшие не только советскую военную школу, но и влияния времён перестройки, когда, отдавая устные приказы, руководство потом без зазрения совести отпиралось от них и военные оказывались кругом виноватые. Армию предавали, об неё вытирали ноги. Поэтому никто не откликнулся на призывы Совета. Все выжидали. В Кремле с тревогой следили за этим, ясно понимая, что если отзовётся хоть один округ, ситуация мигом изменится в пользу Совета.

Люди, обвинявшие патриотические круги в ксенофобии (по-русски – к вражде к иностранцам), не стыдились играть на противопоставлении Русского (Ельцина) с Чеченцем (Хасбулатовым).

Лживая и подлая журналистика с гордостью любит называть себя третьей властью. Но никогда она не была властью, всегда она была холуйствующим сословием. Власть указывала им, науськивала на того, кого нужно травить, и свора продажных, трусливых шавок, послушно и радостно оскалив зубы, бросалась на жертву. Они подстрекали власть к нарушению закона, к расправе и при этом не забывали сюсюкать о свободе. Они писали, что союз сталинистов угрожает проведением терактов (ни одного теракта), они говорили, что не нужно властям превращать сидельцев Белого дома в героев, иначе из-за бездействия властей в России может победить фашизм, они, страшая обывателя и привычно клеветая, говорили, что Руцкой спустил с цепи людей войны; верхом их подлости и лизоблюдства было заявление, что, если Ельцину суждено стать российскими де Голлем, ему придётся действовать, невзирая на Конституцию. Сравнение Ельцина с де Голлем оскорбительно для памяти генерала. Он рисковал жизнью во имя блага Франции, он мог погибнуть, но он шёл навстречу смертельной опасности. Ельцину ничто никогда в жизни не грозило, единственное от чего он мог погибнуть, от передозировки спиртного или по-русски с перепоя. Ельцина и де Голля нельзя сравнивать. Это сравнение огородного пугала рядом с человеком высочайшей культуры и чувства ответственности перед



Отечеством и бескультурным хамом, озабоченным одной проблемой: не отдать власть.

Борис Ельцин никого не боялся, не стыдился, ни перед кем не тушевался. Привыкнув на посту первого секретаря обкома, что все его слушаются и возражать не смеют, он, будучи президентом, так же относился и к зарубежным партнёрам. Конечно, с ними волей неволей нужно было считаться, на их безоговорочное послушание рассчитывать не приходилось, но никакого внутреннего волнения, трепета в душе перед ними у него не было. Да и перед кем трепетать, перед клопиной Чехией и Словакией, перед заносчивой, но в сущности ничего не стоящей, как карманная мелочь, Польшей, или перед этими шлюхами, прости Господи, Латвией, Литвой и Эстонией. Всё же в Эстонии был замечательный писатель Лутс. Как он в детстве хохотал, читая «Весну» Лутса. А у латышей и литовцев, кто такие Райнис да Межелайтис? По российским меркам – бумаго-мараки областного масштаба, у нас в любой области такими Райнисами дорогу мостить можно... Трепет у него был, когда из прорабов он оказался поставлен на партийную линию и начал встречаться с людьми, которых раньше видел только на трибуне. Но этот трепет он скоро, со временем от частого общения с ними изжил, тем более после того, что позднее начали называть «встречами без галстуков». На обкомовских дачах, разного рода посиделках он убеждался в чисто мужском превосходстве перед ними. Они такие же как и я. И даже не такие. Благодаря своему здоровью, он мог выпить больше любого из них, а в мужской среде это издавна почитается за доблесть. Он знал уйму анекдотов, но без мата, мата он не терпел, и умел рассказывать их, в эти моменты в нём просыпался прирождённый актёр. Так же, как к сотрудникам обкома и к служащим в ЦК, он относился и к зарубежным собеседникам, выделяя из них только Буша, всё же, как ни говори, тот был большим начальником. Не таким, какой мог снять его с работы, но...

Однажды Костиков сказал ему, что надо бы приструнить журналистов. Они часто пишут и говорят просто «Ельцин». В этом он видел неуважение, журналистскую развязность, па-



нибратство. Надо обязать их писать и говорить как положено: Борис Николаевич.

Он выслушал его и сказал:

– Как ты думаешь, когда журналисты писали и говорили: Сталин, они вкладывали в это слово панибратство или распушенность?

Костиков сразу сделал руки по швам:

– Всё понял.

Но был один человек, перед которым Ельцин испытывал смущение, неловкость и даже иногда робел, не мог действовать и говорить, как обычно открыто грубовато, не мог перебить его, не дослушав, что он говорит, словно висела между ними какая-то невидимая завеса, которую он не мог ни отодвинуть, ни порвать...

Позавчера из США прилетел Святейший Патриарх, повидался с председателем Конституционного суда, с Ю. Лужковым и сразу выразил пожелание встретиться с президентом.

Дверь кабинета бесшумно растворилась, и в кабинет президента своей степенной, в которой однако не было и тени начальственной величавости, походкой вошёл Святейший Патриарх.

– Рад Вас приветствовать, уважаемый Борис Николаевич, – сказал Патриарх, вошедший в своей обычной одежде: чёрном подряснике и в белом куколе с золотым крестом на голове, – Как Ваше здоровье? Я надеюсь, Вы в полном здравии.

Ельцин никак не мог запомнить слово «куколь» (не давалось оно ему) и про себя называл его колпаком, причём ему непременно (таков каприз людской психологии) вспоминалась скороговорка: наш колпак не переколпаковать.

Он с улыбкой двинулся навстречу Патриарху, по-светски (ему претила сама мысль, что он поцелует руку мужчине) рукопожатием поздоровался с ним.

– Вашими молитвами, Ваше Святейшество, – произнёс он слова, какими положено отвечать на приветствие Патриарха и от себя прибавил, – здоров я, здоров. И Наина Иосифовна, и дочка, и внуки. Все здоровы, чего и Вам желают.



– Взаимно, взаимно, – с полупоклоном отвечал Патриарх, без обиняков переходя к цели визита. Он, сказал, что его и весь священный Синод печалит и тревожит противостояние между Верховным Советом и президентом. Наибольшая опасность, на его взгляд, состоит в том, что противостояние может явиться предпосылкой к гражданской войне. Хотя социальных причин к этому нет, не сформировались, к счастью, ещё социальные силы, могущие вступить в братоубийственную схватку, но такая опасность существует.

Ельцин слушал Патриарха молча, с неподвижностью статуи.

Он ожил, когда Святейший сказал, что по его сведениям люди, находящиеся в Доме Верховного совета, терпят лишения, голодают, у них отсутствует медицинское обслуживание, а милиционеры избивают задержанных людей..

– Что вы, что вы, – с интонацией Саакова из «Кавказской пленницы», как бы испуганно и в то же время покровительственно возразил Патриарху Ельцин и через плечо бросил, – Абрикосова сюда, – и снова обратился к Патриарху, – Милиционеры действуют в рамках закона. Вообще, к действиям милиции всегда бывает привлечено повышенное, явно не беспристрастное внимание, и не всегда её действия оцениваются адекватно.

Абрикосов был офицер из охраны, отличавшийся удивительной способностью на лету угадывать, схватывать пожелания начальства и потакать им, то был гений подхалимажа.

– Вот человек, который сегодня был там, он вам всё расскажет, – Ельцин представил Патриарху Абрикосова и попросил рассказать о внутренней обстановке в Белом доме. Глядя на него в упор, президент начал задавать наводящие вопросы. Из ответов Абрикосова, мигом сообразившего, что от него ждут услышать, следовало, что в Белом доме всё благополучно, все обеспечены пищей и водой; слухи об избиениях людей милиционерами беспочвенны и распускаются платными провокаторами из окружения Хасбулатова и Руцкого.

Святейший, опытный, испытанный дипломат знал, что слова служат прикрытием истины, но не мог поверить, что ему



могут так открыто и беззастенчиво, с подачи самого президента лгать, вводить в заблуждение, выдавать чёрное за белое.

Выслушав офицера и дождавшись, когда он уйдёт, Патриарх сказал, что выражает волю священного Синода и полагает, что ситуацию необходимо обсудить и разрешить за столом переговоров, Священный Синод предлагает своё посредничество и считает, что такие переговоры могут состояться в Даниловом монастыре.

Президент выразил своё согласие.

Уже уходя из кабинета, повернувшись к стоящему у стола президенту, Святейший с теплотой и искренностью, какую только был способен выразить его голос, сказал:

– Не нужно крови, Борис Николаевич. Надо беречь людей, русских людей. Их в двадцатом столетии и так полегло немало. Русский народ носитель и хранитель Православия. Не идите по стопам Никиты Хрущёва, это при нём по народу из автоматов стреляли. Кто убивает православных, совершает страшный грех. За такого человека трудно молиться.

Ельцина сравнение с лысым кукурузником огорчило, но он тут же изобразил свою знаменитую, которой поддавались все, даже сам Буш, простецкую, от всей души улыбку.

– Да, да, я с вами полностью согласен, Ваше Святейшество, – Ельцин, в три шага преодолел расстояние, отдалявшее его от Патриарха, взял в ладони правую руку Патриарха, долго тряс её, словно пытался этим удостоверить правдивость своих слов, хотя знал, что МВД со всей страны стягивает в Москву отряды омонцев.

«Умоются они у меня, – тяжело думал он, наблюдая в окно, как иподиакон открывает дверцу, и Святейший садится в машину, нагнувшись пониже, чтобы крест на колпаке не задел верхний проём двери, – ишь чего удумали: не слушаться. Я им покажу. Забыли, видать, кто в Кремле сидит, тот и наибольший, того слушаться надо».

1 октября, на другой день после встречи, Священный Синод постановил, что тот, кто первый прольёт кровь, будет предан анафеме.



Ельцин был оскорблён. Он не верил ни в какие анафемы, но полагал, что Патриарх однозначно должен принять его сторону, а не прятаться за эти «тот, кто». Всем должно быть понятно, кто этот «кто».

Он вызвал Коржакова и сказал, что пора кончать с балаганом, развели, понимаешь, на весь белый свет посмешище. Сам Буш звонил. Когда, говорит, Борис, порядок в своей столице наведёшь. Если нужно помочь, помогу.

Как-то в весёлом застолье, на природе, Коржаков сказал ему:

– Борис Николаевич, царя-то у нас нет, так Патриарх-то нам как царь. Представьте, что Николай Второй к Вам бы пришёл.

Он с презрительной насмешкой глянул на него.

– У царя Николая сколько дивизий было? Не знаешь. Тото и оно. А у Патриарха ни одной. У кого дивизии, тот и царь. Дурацкое твоё сравнение. Не помню кто сказал: из спасибо шинель не сошьёшь. Так и молитву Патриарха в карман не положишь.

– И не нальёшь из неё, – угодливо захихикал кто-то сбоку.

XIV

У советского поэта Маяковского в поэме «Ленин» есть строчка «Гулом гудит взбудораженный Смольный».

Подобно Смольному гудело здание областного правительства в Тиховодске, только что на крыльце не стоял пулёмёт «Максим», да ночное небо не прорезал луч прожектора с местной «Авроры», роль которой мог выполнять любой буксир на рейде судоремонтного завода, и у входа не несли караул бдительные красногвардейцы из латышей, перепоясанные пулёмётными лентами и накалывавшими пропуска на штыки своих винтовок.

Не стояли часовые у входа, а если бы и были, то у них бы руки затекли от исполнения своих обязанностей, чуть ли не весь Тиховодск ломился сегодня в здание правительства, где местный совет депутатов отважился поставить на голосова-



ние вопрос о востановлении доверия областному правительству, т.е. сдвинуть губернатора из его кресла.

Такие «Смольные» в те дни гудели во всей России, от Камчатки до Калининграда.

Взбудоражена была вся Россия.

Депутатов, явившихся на экстренное заседание, было гораздо меньше, чем людей посторонних. Журналисты, праздные люди, зеваки толпились в зале, стояли в проходах рядов. Заседания, как такового, не было, в зале висел немолчный гам десятков говоривших голосов. Все говорили громко. Создавалось впечатление, что никто никого не слушает, все охвачены эпидемией говорильни. Тщетно пытался из-за стола президиума призвать всех к парламентскому порядку ведущий, его не слышали. Какой-то порядок устанавливался, когда из своего кабинета спускался вниз губернатор, сообщить последние новости, по спецсвязи поступавшие к нему из Москвы. Однажды пронёсся слух, что Ельцин арестован. В зале поднялся неимоверный шум, как на бирже, когда акции прогоравшей компании вдруг резко подскочили вверх. Многие обрадовались, потому что видели, что Ельцин – это второе издание Хрущёва, та же малообразованность, безкультурие, хамский напор и нежелание к кому-либо прислушиваться. Но открыто свою радость никто не высказывал: кто знает, как всё обернётся, а жизнь – штука длинная.

Опровергнуть слух торопливо явился сам губернатор Горов.

– Неправда, – как из уличного репродуктора зазвучал его голос. Все примолкли. – Неправда, – завладев общим вниманием, продолжал губернатор. – Я запросил Москву и с полной ответственностью заявляю и повторяю, не верьте слухам. Борис Николаевич находится в своём рабочем кабинете...

– В пивной, – схохмил кто-то.

– ...и ведёт переговоры с мятежным верховным Советом. Совет хочет спровоцировать гражданскую войну, толкнуть страну к кровопролитию, а президент настаивает на том, что всё должно решаться за столом переговоров.



Шум и крик заглушили его голос, кто-то рукоплескал, кто-то топал ногами.

– Ну и голосок у нашего губернатора, – сказал Ширков, пришедший в здание правительства за свежими новостями. – Ему бы на Красной площади майские или ноябрьские лозунги зачитывать, слышно было бы без микрофона.

Вместе с Ширковым у лифта стоял журналист и поэт Владимир Кудрявый, писатель Александр Грязнов, председатель совета народных депутатов Геннадий Равис и ещё несколько человек, близких знакомых собравшихся. Говорили о событиях в Москве, об обстановке в городе, которая была спокойной. Областная организация коммунистов днём намеревалась провести митинг у Вечного огня, но, ссылаясь на беспорядки в Москве, митинг не разрешили.

– Вообще-то, – покусывая кончик уса, сказал Кудрявый, – нельзя повторить несколько раз. Повторить можно только дважды, о чём говорит корень слова «втор». Культурки не хватает.

Из лифта вышел и вразвалку направился сюда Шкуров. При виде его разговоры у лифта угасли. Все ожидали чего-то необычного и почему-то непременно неприятного. Такой уж он был.

– Здоров, – не обращаясь ни к кому лично, сказал он. По моде тех лет на публике он появлялся в сопровождении охранника, боксёра – разрядника и подружки или на языке «коллекционеров» шмары. Ему нехотя ответили, кто буркнул: «привет», кто кивнул головой.

– Как наши дела в Москве? – желая завязать разговор, начал он.

– Пока ничего не ясно, – ответил Ширков, которому было неловко, что никто не говорит со Шкуровым. Прокурором на суде, на котором судили Шкурова и приговорили к нескольким годам лишения свободы, был как раз Равис.

– Равис, – со мстительным чувством обратился Шкуров к нему, – ты не собираешься прятаться?

– Прятаться? – спокойно спросил его Геннадий Тимофеевич, – от кого и зачем?



– От Бориса Николаевича, – глумливо пояснил Шкуров. – Сначала он всех коммунист в Москве замочит, потом за вас, в провинции возьмётся. Ведь вас скоро на фонарях вешать будут.

– Верёвок на всех не хватит.

– Друзья помогут, пришлют.

– Американские, из кукс-ку-клана?

– Там увидим, – Шкуров вытащил из брючного кармана револьвер и протянул его Равису. – На, прокурор, застрелись, пока не поздно.

Все обмерли. От вида револьвера, потому что все видели его только в кино, и от хамской выходки Шкурова.

Ширков сделал было шаг, чтоб сказать хаму, чтоб он бросил шутить такие шутки, но Равис опередил его.

– Что ж я готов, – спокойно, не дрогнувшим голосом сказал он, – покажи как это делается. Покажи.

– Что показать? – ошарашено спросил Шкуров, в мечтах уже похваливавшийся перед братками, как он уел прокурора.

– Покажи, как это делается. Застрелись сам, а то я не знаю, как это делается.

Равис, образно говоря, посадил Шкурова в лужу. Как часто бывает в таких ситуациях, наступила знаменитая гоголевская немая сцена. По характеру Шкурова сейчас было бы вполне естественно дать Равису в рожу, но обстановка была не та, столько людей, будет скандал, а ему на этом этапе жизни скандалы были ой как не нужны, да может и самому попасть.

Все молча улыбнулись находчивости прокурора, Кудрявый даже засмеялся.

Шкуров покраснев не только лицом, но всей головой, пошёл в зал, на ходу матерясь.

– Вот такие рвутся к власти, и будут нас демократии учить, – сказал Равис.

Заседание так и не состоялось, наплыв людей оказался так велик, что установить мало-мальский порядок не удавалось, а прибегнуть к помощи милиции, чтобы очистить зал, не рисковали. Посидели, пошумели, поговорили и за полночь разошлись, гадая, какой ход придумает Ельцин против Верховного Совета.



Скудомкин ещё задолго до полуночи еле стоявший на ногах (он с семи утра был в здании, толком не пообедал, всё время тёрся в толпе, выуживая выражения, прогнозы, отдельные словечки), пришёл к губернатору отпроситься домой.

– Иди, иди, – разрешил Горкин и уже у дверей остановил его:

– Ты сгущёнку любишь? – спросил он.

– Какую? – не понял смысла вопроса Скудомкин (какая сгущёнка, когда такая заваруха в Москве).

– Какую, обычную, молочную, сладкую.

– Люблю.

– Мальчонкой ел?

– При Советской власти-то. Только видел в магазине

– И дети любят? – взяв какую-то бумагу, уже машинально спрашивал Горкин.

– Нет, внуки. Дети-то уже взрослые, сыну тридцать пять, а дочери сорок. Они у меня...

– Вот там, в комнате отдыха коробка сгущёнки стоит. С молкомбината привезли. Бери, сколько хочешь. Внукам твоим. Надо же тебя наградить за защиту демократии, – губернатор усмехнулся.

Вынув из кармана куртки сетку-авоську, с которой никогда не расставался, Скудомкин положил из коробки 10 банок сгущёнки, предвкушая, как лакомству обрадуются внуки, а потом и жена, что досталась она бесплатно и к тому же от губернатора.

– Так я пошёл, – сказал он, заглянув в кабинет, не показывая сетку, а то вдруг Горкин скажет, что он оборзел, обрадовался на дармовщину.

– Всего хорошего, – кивнул головой губернатор. – Ну-ко, покажь, что там у тебя.

Скудомкин поднял сетку.

– Я же сказал, сколько хочешь, – недовольно сказал Горкин, встал из за стола своими длинными и толстыми пальцами взял в коробке сразу пять банок. – Открой пошире, – он опустил банки в сетку. – Вот так-то оно будет лучше.

Простившись с губернатором, Скудомкин на лифте ехал вниз и – чёрт его дёрнул – нет, чтобы проехать до самого



низа, вышел на втором этаже. Решил напоследок глянуть, что там творится. Двери разъехались, и Скудомкин оказался перед Ширковым, Рависом и другими. Они, очевидно, о чём-то говорили и двери лифта раскрылись как раз на словах Ширкова:

– Кто за что Родину продаёт, кто за шахту, – и Скудомкин стал перед ними со своей сеткой. Он спрятал её за спину на словах Грязнова:

– Это уж кому как повезёт.

– А, Гриша, привет, – увидев его, сказал Ширков и протянул руку для приветствия, но Скудомкин в мгновение сумел шмыгнуть назад в кабину лифта.

Жил он поблизости, перейти Винтеровский мост и за перекрёстком начинался, по выражению местных шутников, правительственный квартал.

«Хорошо ему, – косившись на возвышавшийся посередине сквера бюст прославленного авиаконструктора, подумал Скудомков, – семь Сталинских премий отхватил, не жизнь – лафа. Ни у кого в Союзе столько премий не было. А каждая премия по сто тысяч, это семьсот тысяч, да рубли-то ведь не нынешние, туалетная бумага, на рубль буханки хлеба не купишь, а полновесные, советские, хотя буржуи и обзывали их деревянными».

Местные остряки, борцы за правду этот квартал домов называли правительственным неспроста. С конца 70-х годов здесь построили непохожие на обычные дома массовой застройки, три дома. Их называли обкомовскими. Этот уголок города власти облюбовали давно. Ещё в XIX веке здесь были разбиты широкие городские бульвары. В 20-е годы на бульвары посадили вдобавок к прежним много молодых лип, берёз, тополей. В самом центре города образовался островок зелени, уюта и тишины. Тут же располагались поликлиника и больница для пациентов избранного круга. Нетрудно представить, какие чувства испытывали рабочие, строившие, отделывавшие эти дома. С трибун говорилось, в газетах печаталось о едином советском народе, но люди видели, что в народе есть



особая часть, для которой многое делается на особицу. Это не прибавляло в народе любви к власти.

Перед началом перестройки готовился к сдаче третий дом. По городу ползли слухи о нём, что в доме улучшенная планировка комнат, высокие потолки и, что сильнее всего будоражило общественное мнение, в квартирах два санузла, или по-просту два унитаза. Это особенно разогревало страсти. Люди, ещё 20–30 лет назад жившие в бараках с общим холодным туалетом, воспринимали это как надругательство. О двух унитазах в одной квартире говорилось на митингах, бушевавших на площади поблизости от горисполкома, публиковалось в газетах. Раздались неслыханные требования предоставить часть квартир рабочим, строившим дом. Требование казалось потрясением основ, никогда народ ничего не требовал от властей, а только выслушивал на демонстрациях лозунги, летевшие с трибуны, и терпел.

Возня вокруг дома была одним из ходов большой игры, народ нужно было уверить, что на самом деле начинается честная жизнь. Шум о доме был затеян специально для того, чтобы накалить страсти, а потом уступить.

Было принято решение часть квартир выделить рабочим.

Одним из «рабочих» оказался Скудомкин. Первый секретарь обкома решил таким образом пойти навстречу его амбициям, о которых был прекрасно осведомлён. Григорий подумал с не умиравшей надеждой: наконец-то началось. Но дальше квартиры ничего не последовало. Одна только была радость: мог ли подумать его отец, рабочий на мебельной фабрике, обитатель барака на Рабочей, что его сын будет жить в прекрасном или, как появилось новое словцо «престижном Доме», и первый секретарь обкома будет его соседом. Первый секретарь в первом подъезде, а он в третьем. Как-то поутру он увидел подкатившую к первому подъезду чёрную «Волгу» с номером 00-01, а из крыльца вышел и сел «товарищ первый» как называли секретаря в обкоме.

– Ну, слава те господи, – встретила Григория, отпирая дверь, жена. – Я волнуюсь, хоть бы позвонил.



– Какое позвонил, – отвечал Скудомкин снимая плащ, – весь день с губернатором работал, на шаг от себя не отпускал.

В прихожую вышел внук, тихий, бледный пятилетний малыш.

– Дедушка Гриша, ты чего мне принёс? – спросил он.

Вспоминая себя, непоседу и бойкушу, Скудомкин не понимал, в кого уродился Сева, робкий тихоня, но внука любил, играл с ним в прятки, читал сказки, занимался раскрасками.

– А вот что, смотри! – вскричал он, подняв над головой сетку с банками.

– А что это? – не догадался мальчик.

– Сгущёнка, Севушка, сгущёнка, – Скудомкин обнимал, целовал в голову внука. – Какая теперь жизнь-то у тебя будет!

– Какая? – Сева взял одну банку, улыбнулся, заражаясь весельем деда.

– Сладкая, Севушка мой, сладкая.

– Гриша, – спросила Клава, – ужинать будешь?

– Что за вопрос, – подхватив внука на руку, с любовью глядя на его близкую к глазу щеку, вьющиеся волосы и милые, светлые глаза, говорил Скудомкин. – Я же целый день всухомятку, только два стакана чая с губернатором выпил. Помираю с голода. Будешь есть со мной? – спросил он внука.

Сева счастливо закивал головой.

– Так и не поел ничего? – озабоченно спросила Клава.

– Ничегошеньки, – целуя внука в щеку, радостно говорил Скудомкин, – горсть сушек губернатор отвалил..

Никто не поверил бы, что Скудомкин может быть таким весёлым, шумным, ласковым, а не угрюмым, вечно озабоченным, напускно важным. Да, собственно говоря, если для чего и стоит жить, так только ради внуков, ради их ясного взгляда, ради чистой, искренней детской улыбки и ласки. С детьми только и бываешь самым собой. Как с собакой. Они ждут тебя, они ещё не умеют врать, предавать, делать различные подлости. Зачем интриги, сплетни, мелкое наушничество, подсиживание, да что греха таить, и доносы и всё прочее ради того, чтобы подняться на ступеньку повыше, чем все.



Ельцин Борис Николаевич в армии не служил по причине искалеченной руки, военное дело не знал и не любил, и не делал попыток (что удивительно для русского человека, воина в душе) узнать и полюбить. Военное искусство считал выдумкой дураков – генералов. Какое тут искусство, дал команду вперёд, и жди результата. Понятия о верности присяге и офицерской чести не имел и думал, что это тоже такая же выдумка, как военное искусство. Но без военных не обойтись. Не Костикова же с Филатовым посылать разгонять этот дерьмовый Верховный Совет. Поэтому он согласился провести в ночь с 3-го на 4-е октября совещание в министерстве обороны.

В 1.30 ночи Ельцин прибыл в министерство обороны. Он был пьян. Ему было не до совещания, его мучительно тянуло ко сну. Он еле стоял на ногах¹⁸. На совещании кроме президента присутствовали: Черномырдин, Ерин Лужков, Панкратов, Филатов, Грачёв, Кондратьев, Коржаков. Трезвым среди них был один Черномырдин.

– Что будем делать? – спросил Ельцин, обводя всех мутным взглядом и несильно пристукинул кулаком.

Все молчали. Никто из них не мог объяснить причину молчания. Конечно, ни у одного из них не было страха или ответственности перед историей, для них это было литературное, придуманное чувство вроде офицерской чести для Ельцина. Скорее всего, их сковал животный страх. Да, на их стороне машина государственного аппарата, армия, милиция, но если вдруг (а они знали, что это вдруг бывает в истории) что-то случится и всё пойдёт не так, когда и Америка, и мировое сообщество окажутся бессильными, тогда Ельцин, спасая себя, сдаст их всех и первую очередь того, кто сейчас первым открывает рот.

Молчать дальше становилось невозможным.

¹⁸ Документально засвидетельствовано. см. А.Островский Расстрел Белого дома., с. 471



Тогда встал Коржаков и сказал, что у него есть грамотный в военном деле, опытный человек, который может предложить план реальных действий. Коржаков посмотрел на Ельцина, тот кивнул головой. Коржаков выглянул за дверь и то ли крикнул, то ли свистнул, но в кабинете очутился человек в форме морского офицера и последовательно изложил как с помощью танков и десантников можно решить задачу по Белому дому.

Сразу все оживились, посыпались вопросы, предложения. Началась детальная проработка плана, в кабинет стали по-одиночке звать заранее приглашённых армейских офицеров.

После этого совещания отсчёт жизни многих людей пошёл на часы. Они ещё живы, они спят, видят сны, мечтают, строят планы на будущее, но мечты не сбудутся, планы не наполнятся жизнью.

Спокойно спят их жёны, не зная, что они уже вдовы, сладко спят дети, не зная, что они сироты; не знают своей участи сотни умных, красивых, честных людей, вся придуманная вина которых заключается только в том, что они сильно любят свою Родину и никому не хотят отдавать её. Люди не знают, что они уже жертвы, что их тела ночью будут сжигать в тайных крематориях, закапывать в могилы, вырытые бульдозером, и ножом этого же бульдозера столкнутые в яму, в грязь, в неизвестность.

Как писал М. Булгаков «дешева кровь на червонных полях, и никто выкупать её не будет», никто не ответит и за московские убийства, за изнасилованные души, за поруганные, раздавленные танковыми гусеницами мечты.

Ельцину не суждено было без помех доспать эту ночь. Около пяти часов ночи, уже в Кремле его растолкал Коржаков, отёр его лицо гигиеническими, влажными салфетками, причёсал волосы, брызнул из пульверизатора лёгким одеколоном, поправил галстук.

– Что тебе надо? – ворчал Ельцин, норовя вальнуться на бок. – Оставь меня в покое.

– Надо, надо, Борис Николаевич, встретиться с «Альфой», сказать напутственное слово, люди в бой пойдут. А люди они



вымуштрованные, порядок любят, человека неряшливо одетого они иначе как «недоразумение в тряпках» не называют.

– Ты, ты, поосторожней, не забывайся.

– Да я ведь не про вас говорю, вас хоть сейчас на обложку журнала.

Офицеры «Альфы» построились в соседней комнате. Ельцин вышел к ним и на мгновение замер. Он считал себя рослым человеком, привык смотреть на весь люд свысока, но здесь все офицеры были выше его. В военной форме, с блеском наград на могучих грудных клетках, шеренга виделась монолитной, несокрушимой стеной. Про французского короля Анри IV пелось, что в схватке рукопашной один он стоил двух. А эти офицеры, обученные, натренированные, не раз бывавшие под огнём, любой из них стоил четырёх, а то и пяти бойцов. Душа президента, слышавшего свист пуль только в кино, съёжилась мышонком, но он мигом овладел собой.

Поздоровавшись со строем, он сел за стол, сказал, что был на заседании Совета безопасности и коротко изложил план штурма Белого дома: после танкового обстрела в атаку идут десантники Наро-Фоминского полка, а под их прикрытием в дело вступают группы «Альфы» и «Вымпела».

– Вы готовы выполнить приказ президента? – покрасневшими глазами исподлобья посмотрев на офицеров, спросил Ельцин.

Но вместо уставного: «так точно», не прозвучало ничего.

В комнате воцарилось молчание. Отборные, в которых президент должен быть уверен как в себе, бойцы молчали. Но то не было молчанием страха, как на заседании Совета безопасности в министерстве обороны. Альфовцы были ошарашены услышанным. У многих сверкнуло в голове: что же это за Совет безопасности, планирующий массовое убийство людей?

– Тогда я спрошу по-другому, – сказал Ельцин. – Вы отказываетесь выполнять приказ президента?

И опять молчание.

Ельцин обвёл взглядом строй, помимо воли залюбовавшись богатырями, и вышел из комнаты, на ходу обронив, что



приказ должен быть выполнен. У себя в кабинете, лёжа на диване, он орал на Коржакова.

– Кого ты привёл, кого мне подсунул? Баб, а не солдат. Борис Николаевич, Борис Николаевич, надо сказать напутственное слово. Хотел я плюнуть, да удержался. Кончится всё, разогнать их всех, чтоб духу их возле меня не было. Поддай мне, где тут у тебя.

– Борис Николаевич, – покорно выслушивавший выговор, осмелился возразить Коржаков, – может, не нужно. Вы же не спали практически всю ночь. Поберегите себя.

– Ты ещё мне говорить будешь, – разгневанный Ельцин сел на диване, встал пошатываясь. – Давай, где прятаться, показывай.

– Чего ж вы, ребята, так облажались, – говорил Коржаков командиру «Альфы» полчаса спустя, когда президент угомонился и заснул, – Борис Николаевич сам пришёл, не через кого-то приказ спустил, а вы?

– А что мы, Саша, – возразил командир отряда. – Для меня, человека служивого, приказ – закон...

– Вот, вот, – подхватил Коржаков и хотел уж было бежать к президенту.

– ...Его не обсуждают, его выполняют. Но пойми, убивать людей, депутатов, наших соотечественников. Нет, нам награды дадены, как солдатам, а не палачам. Прости, Саша, пусть твой шеф, поищет других. Слова «честь имею» не мной придуманы, я их ценю..

– Врагов убивать не дрогнет рука, – подал голос один из офицеров, – но стрелять в безоружных машинисток, увольте.

Интеллигенты глумятся над военным сословием, если парень не смог поступить в институт, то ему (подразумевается: тупому) одна дорога: в армию. А среди военных много высокообразованных, высококультурных людей. Военные оказались благородней интеллигентов. Те вопили, аж визжали о свободе, о гуманности, а сами, суча дряблыми ножками, призывали к расправам, к убийству. Офицеры «Альфы» отказались уби-



вать безоружных людей. Благородство и любовь к своим согражданам у них были не на языке, а в сердце.

В одном из отделений милиции, располагавшемся по близости от Дома можно было услышать такой разговор.

– Ну, попадётся мне какой –нибудь коммунист, сделаю из него бифштекс с кровью, – сказал молодой сержант.

– Остынь, Егор, остынь, – сказал ему товарищ, – только на дежурство заступил, ещё целые сутки впереди.

– Чего тебе конкретно коммуняки сделали? – спросил напарник сержанта, водитель патрульной машины. – Жалованье задержали? В звании тормозят?

– Да не мне конкретно, народу русскому. Представляешь, сынишка принёс из школы Солженицына, до утра читал. Глаз не сомкнул. Читал в постели, баба захрюкала: спать не даёшь, ушёл на кухню, два чайника чая выпил, баба колбасы кило купила, съел с батоном, утром она мне дала за эту колбасу продраться, она на неделю её купила. Читаю, остановиться не могу, как сказки Пушкина в детстве читал. Спать надо, отец свет выключит, я фонарик включу, под одеялом читаю. Слушай, Вован, почитай, не пожалеешь.

– Что я, реальный лох что ли, читать, я лучше пивка да у телевизора посижу.

– Ты что, куда там твоему телевизору. Представляешь, эти коммуняки, сто десять миллионов, миллионов! это ежели в Москве восемь миллионов, так десять таких городов, они уничтожили. А потом сто эков на костре живьём сожгли. Так они стояли и горели, плохо работали, их и сожгли.

– А чего ж они с костра не бежали?

– Так конвойники пристрелят.

– Уж лучше смерть от пули, чем на костре жариться.

– Вообще-то да, но ведь написано.

– Мало ли что написано.

– А сам Солженицын, – подогревая себя, ибо напарник слушал его сомневаясь, говорил Егор, – Четыре года на фронте, командир батареи, а перед атакой банка тушёнки на четверых



и вперёд. Ура! А потом такого героя в лагерь. Не шестнадцать ли лет отмантулил. Исхудал. Карточка снята, где он в лагере. Только откуда он в лагере фотоаппарат взял? Этого я себе объяснить не могу.

– Верь ты книжкам.

– Пятнадцатый экипаж на выезд. – раздалось по внутренней связи и, стуча сапогами, патрульный экипаж ринулся на выход.

– Вообще-то плевал я на комуняк, если серьёзно, ни тепло мне от них, ни холодно, – продолжал и в машине говорить Егор, – Служба вымотала, который день по усиленному варианту, ни поспать, ни пожрать толком. Скорей бы пре.., – он осёкся, – скорей бы с этим съездом депутатов разобрались, врезали им по полной.

– Слушай, Егор, кончал бы ты эти разговоры, Не нашего ума это дело. Нам что на роду написано? Стоять на страже порядка, приехал по вызову, разобрался в чём дело, кому надобно морду набил, к порядку призвал. Кто не понял, того задержал, доставил в отделение, пусть начальство ему мозги вправляет. И всё. А думают да рассуждают, пусть те, кому за это деньги платят. Вот так. У лошади голова большая, пусть она думает.

XVI

В коридорах, кабинетах и холлах Дома, пропахших холодом и неуютом, а всего сильнее публичным туалетом, протянулась однажды, повеяла смолистая струйка. Для людей не церковных она показалась странным, необъяснимым капризом осадной, ненормальной жизни, а люди верующие сразу поняли: пахнуло ладаном. Головы повернулись в сторону волнующего, обещающего запаха и на лицах засветилась надежда: неужели будет служба?

Почти с первого дня осады перед Домом совершались молебны, завершавшихся крестным ходом. За день ход бывал не



один. Сидишь в холодной полутёмной комнате и слышишь – запели, идут. Глянешь сверху: колышутся хоругви, принесённые из храма, молящиеся с простыми, большей частью, бумажными иконами, кучка певчих, замотанных платками женщин, с охрипшими и осипшими голосами, шествуют впереди священники, и возлетает на верхние этажи: «Спаси, Господи, люди Твоя» и «Господи, помилуй», и «Пресвятая Владычица, спаси нас», и Отче священноначальниче Николае, и Радонежские, и Оптинские, и Соловецкие, и Вологодские, и прочие чудотворцы.

По двору перед Домом разъезжал бронетранспортёр жёлтого цвета, прозванный «жёлтым Геббельсом». По громкоговорителю из бронетранспортёра слышались афганские песни, а когда шествовал крестный ход, «Геббельс» не только увеличивал громкость, но выплёвывал наружу пошлые, на грани похабщины песенки.

Крестные ходы были. Но поскольку в Доме запахло ладаном, и послышалось бряцание кадильной цепочки, нетрудно было догадаться, что предстоит литургия.

В одном историческом романе Петя читал рассуждения автора, как великому князю перед битвой было важно накормить воинов, чтобы они были сыты. Суворов в своей «Науке побеждать» много пишет о питании солдат. Автор романа сравнивал битву с тяжёлой работой, воину нужно работать мечом, наносить удары, отражать их, да в кольчуге, да со щитом. Сейчас нет великих князей, в прошлом и суворовские чудо-богатыри, но Святейший Патриарх благословил причащаться за обедней без соблюдения поста. Провидит мудрый архипастырь, что осадникам скоро понадобится много не только духовных, но и телесных, физических сил.

В двух комнатах на втором этаже, отведённых под домовую церковь, развернули складные ширмы, служащие иконостасом, поставили походный престол, на который возложили антиминс. Все действия сопровождалось чтением соответствующих молитв.

Литургия транслировалась на улицу.



Обедня шла, как ей положено идти, на правом клиросе вычитывались часы: третий, шестой и девятый, на левом клиросе второй батюшка вёл исповедь, склонившись над аналоем.

На фотографиях из «Огонька» за 1916 год Петя видел военные полевые церкви, конечно, более богато оснащённые, там были и подсвечники, иконы на аналоях. Ему подумалось, что они сейчас тоже как на фронте, перед сражением. Но кто у них враг? С кем предстоит скрестить оружие? В сражении этом не отведена ли им роль жёртв как юнкерам, защищавшим Кремль в 1918 году. Или бессмертных спартанцев? Но зачем заранее сдаваться? Ещё Суворов говорил: кто испуган, наполовину побеждён. Однако как быть, если он видел, как к Дому стягиваются броники, а у них, сам Володин говорил, автоматы на счету. Он за эти дни автомата в руках не держал.

Вычитаны Часы, звучит:

– Благословенно Царство...

Началась сама обедня.

Обедня текла своей извечной чередой, за великой ектенией последовал Великий вход.

Завершён Евхаристический канон, пропета «Отче наш», в царских вратах встаёт священник с Чашей.

– Со страхом Божиим и с верою приступите.

Медленно приближаются причастники к Чаше. Когда причащался Сергей, произошло неожиданное. Священник вынимал лжицей из Чаши частицу Святых Даров и вдруг капля Крови Христовой капнула на красный плат, которымтирают уста причащающихся. Женщина, стоявшая за Сергеем, вздохнула:

– К крови!

Отец Александр сухо отрезал:

– Разговоры у Чаши, – и причастил Сергея.

За Лыкошиным стоял Петя.

– Пётр, – произнёс о. Александр, поднося лжицу к Петиным устам.

На проповеди священник сказал, что проповедь его будет возможно несколько политизирована, но нужно принять во



внимание, в какое время и где она произносится, и в числе прочего сказал:

– У каждого народа свои ценности. Не надо слепо перенимать чужое. Мы повторяем как попугаи про здание Верховного Совета – Белый дом, а ведь в Вашингтоне Белый дом построен на месте публичного дома – места порока и разврата. Зачем нам не нужные, богохульные параллели, если мы молимся о том, чтобы жизнь наша проходила в благочестии и чистоте.

Сейчас многие наши беды соединяют с именем президента Ельцина. Он де такой и сякой. Посмотрим на себя, братья и сёстры, не мы ли, живя при советском, весьма скромном, но гарантированном достатке, возмечтали жить лучше. Но как? Не работая, не трудясь. Мы поверили соблазнительям, сами заварили смуту. Ни в Ветхом Завете, ни в Евангелии не прославляются лентяи, тунеядцы. Чем скорее мы одумаемся, повернёмся к заветам отцов, прославляющих труд, тем скорее к нам вернётся мирная жизнь.. В нашей литературе масса удивительных произведений, в которых воспеваются труженик, созидатель, и ни одного похвального слова о тех, кто мечтает царствовать лёжа на боку. Помните стотысячную толпу в центре Москвы с лозунгом «Партия, дай порулить!»?

Во власть хлынули неумехи, болтуны, трепачи, честолубцы, откровенные враги нашего народа. И вот дорулились. Сейчас в нашем государстве смута. Я говорю с вами, находясь в Доме Верховного совета, и молюсь о том, чтобы возникшее противостояние между двумя ветвями власти закончилось честно, мирно, не постыдно, чтоб не была пролита братская кровь.

Молитесь за Россию. Она наша спасительница. А для того, чтобы молитва была действенной, надо веровать и любить. Как сказал поэт – нужно, чтобы Русь хранила себя. А Русь это мы. Нужно хранить Русь во всём, говорить на русском языке, а не на американо – собачьем сленге, хранить нашу давнюю и близкую, советскую историю, хранить наши песни, наши семьи. Врагами русского, славянского народа против этого ве-



дётся война. Мы должны одолеть врагов и одержать победу в этой войне. Аминь.

После целования креста был отслужен водосвятный молебен, панихида.

Когда все разошлись, священники и Володин с Лыкошиным поднялись в комнату радиостанции. Петю Лыкошин взял прицепом.

– Никуда не отходи, – тихо промолвил он Пете.

Но когда священники предложили почаёвничать, Петя хотел улизнуть.

– Стой тут, – приказал Лыкошин.

– Неудобно, меня ведь не звали.

– Не модничай, – сердито сказал Лыкошин. – Я тебя зову. Тебе достаточно?

Петя мотнул головой, сглотив голодную слюнку, потому что на слова Володиной, что у них и вода не вскипачена, отец Александр сказал:

– А мы в термосах чай взяли, – и, вынув из объёмистой сумки два трёхлитровых термоса, доставал чашки, пакеты с едой, раскладывал их на стол с радиопередатчиком.

– Оо, вы и чашки прихватили, – сказал Володин, – а я думал мы по-походному, по-военному из крышек термосных будем пить.

– Собираясь сюда, мы же знали, с какими людьми чаи будем распивать, так постарались.

– С какими людьми, с обыкновенными, – отклонил похвалу Сергей.

Чай разлили по чашкам.

– Какая вкуснота, – сказал Володин, едва отпив из чашки. Вода, что ли, какая особенная.

– Из мытищенских ключей вода. Помните Перова «Чаепитие в Мытищах»?

– Довольно пакостная картина, – заметил Володин.

– Но Перов художник-то великий.

– Кто спорит, одна «Тройка» чего стоит, больше ста лет как написана, а на лица детские без слёз смотреть невозможно.



- Если быть точным, написана она в 1866 году.
- Вы, батюшка, даже год знаете.
- Как не знать, если я по Перову кандидатскую писал.
- Я же говорил тебе, Сергей, – обрадованно, словно вспомнив спор, воскликнул Володин, – что советские попы, самые учёные попы в мире. Среди них кандидатов да докторов на душу населения больше, чем в любой европейской стране.
- Ты так говоришь, словно мы с тобой об этом спорили.
- А в Тирасполе. Забыл?
- В Тирасполе? Когда ж это было.

В холодной комнате ароматно пахло горячим чаем. Пожалуй, больше всех чаю обрадовался Петя. И не столько самому чаю, сколько содержимому пакетов из коричневой плотной бумаги. В них было столько бутербродов и с колбасой, и с сыром, и с икрой. И были они домашние, а не столовские. Если бутерброд был с колбасой, то на ломте хлеба с изрядным слоем масла лежал не скудный осенний листик колбасного продукта, сквозь который видно небо, как в буфете Дома, а добротный кус колбасы, который, как говорил поэт, простому смертному сулит неизъяснимы наслажденья. То же самое следовало сказать и о сыре, и об икре. Видно, что бутерброды делали, не жалея продуктов, с любовью.

Чтобы продлить удовольствие от процесса еды, Петя достал нож, разрезал бутерброд вдоль, сделав из одного два.

- Покажи, – попросил Володин и взял нож.

В ноже не было ничего особенного, разве что наборная из слоёв зеленого полупрозрачного плексигласа, перемежавшегося с алюминиевыми полосками, рукоятка. На зелёных слоях кислотой вытравлена надпись: ПЕТЯ.

- Длина клинка двенадцать сантиметров, пояснил Петя. - Это мне дед на день рождения сделал.

- Ишь ты, какой дед рукодельный, – похвалил Володин

- А он тебе случайно меч – саморуб, – улыбнулся отец Александр, – чтобы ты врагов Отечества сокрушал, не сделал? С наборной, разумеется, рукояткой.

- Не сделал.



Насытив чревеса и утробы, перебросившись шутками, между пастырями и прихожанами завязался разговор.

– Ну что, честные отцы, – сказал, утирая губы и усы бумажной салфеткой Володин, – какова жизнь на воле?

– А на воле, батюшка, – подыгрывая его тону, отвечал отец Александр. – Смута.

– Смута, смута, – как бы говоря с самим собой, тяжело повторил Володин.

– А что в церковных кругах, – серьёзно спросил Лыкошин, – думают о Ельцине?

– А что о нём думать, – сказал отец Александр, – с ним всё ясно.

– А поконкретней.

Отец Дмитрий откашлялся:

– Вы знаете, что наше священноначалие не приветствует открытое участие, как иереев, так и монашествующих в политической жизни, поэтому я отвечу вам словами народного поэта Павла Ершова:

У крестьянина три сына.

Старший умный был детина.

Средний сын и так и сяк,

Младший (Борька) был...

– Допустим «чудак», – договорил за замявшегося отца Дмитрия Володин.

– Ну как иначе о нём подумать, если на каком-то мероприятии он архиепископа назвал архимандритом. И с таким видом, что ничего не произошло. На лице тупое выражение зажавшегося начальника, с которым никто спорить не смеет. Я ска- зал и всё.

– Но это всё равно, что полковника назвать старшим лейтенантом, – сказал, не удержавшись Петя.

Все посмотрели на него, но Петя не стушевался.

– Или генерал-лейтенанта прапорщиком, звёздочки-то тоже две и погон без просвета, – выручая Петю, отозвался Лыкошин.

– Но ведь мог бы с кем-то посоветоваться, подчитать где-нибудь, сейчас церковной литературы полно.



– Он же сказал, не помню где: не для того я родился, чтоб книжки читать. Пусть дураки книжки читают, а я делом занят.

– Был у нас один «дурак», в день, говорят, по пятьсот страниц прочитывал. Его сам Черчилль, тёртый парламентский калач, побаивался.

– Какой там Черчилль, этим третьим сыном Буш вертит, как хочет. Он же Америке наш оружейный плутоний продал. Это всё равно, – Володин глянул в сторону Пети, – если бы благоверный князь Дмитрий передал Мамаю все мечи, а войску оставил одни засапожные ножи. Он обезоружил нас.

Под вечер этого же дня Лыкошин предложил:

– Пойдём, Пётр, прогуляемся, подышим свежим воздухом.

– Здесь воздух так же свеж, как на улице, – Петя хотел пошутить, но шутка не удалась.

– Побудем вне Дома, посмотрим на него со стороны.

Все стали говорить Дом, придавая этому слову особое значение, после того, как Володин довольно резко ответил одному из защитников сказавшего: Белый дом.

– Оставьте, прошу вас, эту гадость: Белый дом. Если нужно как-то назвать здание, где мы воле Божией собрались, называйте его просто Дом.

Сергей Лыкошин и Петя по сумрачным, неосвещённым лестницам спустились вниз, вышли во двор. Везде темнели палатки. Дом высился в надвигавшихся сумерках как древний, овейный легендами средневековый замок, кое- где в окне светился тусклый огонёк. Солярка для генератора давно закончилась, кто-то освещал комнату аккумуляторным фонариком, заряженным днём в Москве, кто-то по- дедовски сидел при свечах, говорили, что один защитник принёс из дома ещё советскую керосиновую лампу, но где он добыл в современной Москве керосин, осталось его тайной.

На площади горели костры, у которых грелись люди, не уходившие и ночью домой: сторонники Ельцина держали людей в постоянном нервном напряжении слухами о ночном штурме.. Ветерок гонял по площади листву, обрывки бумаг,



скомканные газеты. Всё напоминало бивак небольшого воинского, партизанского подразделения.

Почти над каждой палаткой развевался красный флаг, иногда совсем маленький, с какими раньше дети ходили на демонстрации. Современных трёхцветных флагов было меньшинство. Там, где палаток было гуще, стоял накрытый клеёнкой с васильками стол. На нём большой деревянный крест, множество икон, в светлой металлической рамке фотография царской семьи: дочери сзади отца с матерью, царевич Алексей у матери на коленях.

– Каков, Пётр, парадокс истории, – сказал Сергей, – царское семейство расстреляли при Советской власти, а сегодня люди с их портретом пришли отстаивать Советскую власть.

Лыкошин и Петя переходили от костра к костру, Лыкошин заговаривал с людьми, призывал их потерпеть, голос его унавали, здоровались, задавали вопросы, угощали согретым на костре чаем. Отходя от одного костра, Петя замешкался и услышал, как одна женщина сказала другой с глубоким почтением.

– Лыкошин. Сам. Не корчит из себя начальничка, по-просту разговаривает.

Собеседница её с таким же почтением добавила.

– В советское время о таких говорили: вождь.

– Как, Сергей Артамонович, думаете, чем всё закончится? – спросил Петя.

Лыкошин помолчал и грустно спросил:

– Честно?

– Разумеется. Конечно.

– Я думаю, Ельцин возьмёт верх. Прошу тебя отметить, это не поражение, а объективная реальность.

– Но ведь правда на нашей стороне.

– А разве она не была на стороне Парижских коммунаров, но у Тьера была сила. У нас нет силы, а у Ельцина и армия и МВД и КГБ. Очень хочется надеяться, что армия не поднимет оружие против народа. Но армия – это такой инструмент. В руках Сталина она и Советский Союз защитила и Европу освободила, а в руках Ельцина... Ты не подумай, что я перед людьми



лицемерил или обманывал их, говоря о победе нашего дела. Но что я могу им сказать? Люди пришли и приехали добровольно, по зову сердца, без оружия, без тёплой одежды, а я им скажу, что против нас тысячи милиционеров, солдат, у нас автоматов раз – два и обчёлся, а у них гранатомёты, пулемёты.

– Это, – подхватил его мысль Петя, – это как если бы царь Леонид сказал: нас тут всего триста человек, ребята, а у Ксеркса тысячи. Сопротивление бесполезно, расходитесь по домам.

– Правильно. Тогда бы нечего было возвещать гражданам Лакедемона.

– Но офицеры же приносили присягу на верность Советской власти.

– Пётр, если б я тебя не узнал за эти дни, я бы спросил у тебя, зачем ты задаёшь детские вопросы. Скажи, кто первыми изменил присяге, которую они давали Государю.

– Святому Николаю Александровичу?

– Да. Кто? А ты говоришь. И потом: наше сопротивление важно для будущего. Ведь мы живём не только сегодняшним днём. Наша победа в будущем.

На краю площади робким пламешком горел костерок. На огне стояла жестяная банка с водой. Закутавшись в какую-то рванину, у костерка скорчилась женщина, повязанная дырявым, грязным платком. Рядом с ней, прижавшись с боков, полужележали две девочки.

– Христа ради, люди добрые, – попросила голосом нищенки женщина.

Лыкошин достал из внутреннего кармана бумажку и подал женщине. Видимо, купюра была солидной, потому что побирuşка, громко причитая, благодарила Сергея и порывалась схватить его за руку, чтобы поцеловать.

– Спасибо, господин, – говорила она.

– Какой я господин. – убирая руки за спину, решительно возражал Лыкошин. – Разве я похож на господина? Я товарищ.

– Неет, – неожиданно с горечью не согласилась женщина, – товарищи все кончились два года назад, когда шайтан Горбачёв в августе кашу заварил.



Дремавшие девочки проснулись и на Петю взглянули две пары чёрных, блестящих глаз.

Пока они стояли возле костра, разговорчивая женщина поведала им, что они приезжие из Таджикистана. В получившей независимость республике не ко двору пришли не только русские (но они в первую очередь), но и другие национальности. Они, к примеру, татары. Казалось бы родственные народы, но загвоздка в том, что муж ведущий специалист на заводе и квартира у них почти в самом центре Сталинабада (она так и сказала, а когда Лыкошин поправил: Душанбе, женщина скривилась, как будто откусила лимон). Сперва, как водится, с мужем поговорили, он не пожелал уступить своё место тупому, но местному, на улице начали приставать к девочкам, мужа вечером избили. Так и бежали они, бросив и работу и квартиры, спасибо, что живыми остались.

– Что же вы в Москву подались, а не в Татарию, Шаймиев зовёт всех татар на родину предков.

– Мы кряшены, – сказала женщина, – а таких Шаймиев и его чиновники не больно-то жалуют. Попытались мы в Казани устроиться, не вышло, поехали сюда искать правды в Верховном Совете, записались на приём к Хасбулатову, а вот какую правду нашли.

– Вот, Пётр, какие дела творятся, – сказал Лыкошин, когда они отошли, сопровождаемые испуганными и молящими взглядами девочек.

– Ехал бы ты, Петенька, к матери, к бабушке. Судя по рассказам, переживает он за тебя.

Петю тронуло, что Лыкошин назвал его Петенькой и вспомнился дед.

– Ну, как у тебя с Эдуардом Фёдоровичем?

– Нормально.

– Отлично. Слава Богу. Ума он большого, хотя ум есть у многих. Николай Амосов, например, разве не умный человек, а ведь был одержим богопротивной идеей создать искусственный разум. А Эдуард, в крещении Иадор, сверх ума честнейший и высоконравственный человек.



Этот день, казалось, не хотел кончаться. Вернувшись с прогулки, у Пети было таинственное свидание. В дверь радиостанции постучали, и в комнату зашёл мужчина лет пятидесяти, среднего росточка, остроносенький, с неприметными серыми глазами. В тёмном пальтеце. Через час после того, как он ушёл, Петя пытался вспомнить его лицо и не вспомнил, хотя память на лица имел отменную. Бывало, встретит человека мельком, столкнётся с ним через несколько лет и вспомнит, когда и где его видел. Словом, посетитель был сер и неприметен.

Лыкошин с Володиным встали ему навстречу и чуть не в голос спросили:

– Вы к нам?

– Нет, – ответил человек пресным голосом, без характерных для любого человеческого голоса обертонов, – я к Петру. Здравствуй, Пётр, – он уверенно шагнул к Пете, хотя тот мог поклясться, что прежде не видел его. – Где мы сможем поговорить?

– Говорите здесь, у меня от друзей нет секретов.

– Нет, нет, у нас разговор особый, приватный. Вы разрешите?

– Конечно, конечно, – сказали Володин и Лыкошин.

Они вышли на лестницу. Посетитель осмотрелся кругом, заглянул за выступ стены.

– Пётр, – уверенно, каким-то иным голосом, нежели говорил в комнате, начал он. – Меня послал твой дед. Надеюсь, документы спрашивать не будешь, всё равно ты меня не знаешь. Дело в следующем. В это, ближайшее воскресенье милиция и войска будут штурмовать Белый дом. Будет применена техника, возможны многочисленные жертвы. Дедушка просит тебя вернуться домой. Ты выполнил свой долг. Хватит геройствовать...

– Он так и сказал: хватит геройствовать, – переспросил Петя.

– Ну, может, не так дословно, но в таком смысле. Да вот послушай сам.

Дедушкин посланник сунул руку за пазуху, извлёк оттуда предмет, похожий на школьный пенал, ткнул несколько раз пальцем в клавиатуру:



– Владимир Степанович, передаю трубку Петру, – и подал спец-рацию Пете.

– Петечка. – услышал он голос деда, – это ты?

– Я, дедушка, я. – дрожащим голосом ответил он.

– Тебе сказали в чём дело?

– Да, дедушка.

– Пойми, родной мой, это не учебная тревога, это не шутка, чтоб выманить тебя домой. Положение крайне серьёзное, опасное. Вопрос твоей жизни и смерти. Я, мама, бабушка, просим, умоляем тебя, возвращайся домой. Но никому ничего не говори, это пока тайна.

Петя замер с рацией в руке. Вихрь мыслей промчался в голове. Это получается, что он сбежал, оставил друзей, а сам смылся. Дезертировал. Не к месту выплыл издалека царь Леонид, Приказ № 227 в минувшую войну, по которому дезертиров расстреливали перед строем. И много, много всего потоком хлынуло в память, герои Брестской крепости, краснодонцы. Пете не было страшно, он не мог даже мысленно представить, что может быть завтра. Неужели свои будут стрелять в своих? А он своих бросит? Володина с Лыкошиным, женщину на площади с двумя дочками будут убивать, а он сбежит. Как же после этого он будет гордиться героями – панфиловцами, орлами Ольшанского, Михаилом Корницким, обвязавшегося гранатами и прыгнувшим во двор, полный немцами, как он сможет смотреть с лицо Жукову, Василевскому, Коневу на фотографиях у себя в альбомах, как он сможет что-то говорить о Сталине.

– Петя, Петя, – бился в ухо голос деда, – Что ты молчишь?

Жалко и дед, и мать, и бабушку, в рации слышно как что-то они говорят, плачут. А Валя! Но кто как не дед с детского сада учил меня быть верным долгу, своему слову, товарищам. А теперь он же зовёт меня уйти, Я не могу. Это против всей моей жизни.

– Ты слышишь меня?

– Слышу, дедушка, слышу.

– Ну что, едешь?



– Я напишу Вам письмо.

– Письмо он напишет, – сказал дедушка и тотчас в трубку ворвались женские голоса. Говорили сразу мама, бабушка и что-то дед. Понять что – либо было невозможно. Услышался только надрывный взглас матери:

– Не нужно нам твоё письмо, нам нужен ты.

И голос бабушки:

– Нам не нужен мёртвый Александр Матросов, нам нужен живой ты.

Устав от недосыпания, недоедания, нескольких суток ожидания штурма, о котором только все и говорили, Петя почувствовал, что он не выдержит, расплчется вместе с ними, его плач услышат в Тиховодске, и что тогда там начнётся.

Он сунул рацию дедушкину посланцу.

– Погодите, я напишу сейчас письмо, вы передадите?

– Стало быть, не едешь.

Петя вбежал в комнату радиостанции и на старом, пожелтевшем экземпляре «Боевого листка» (их принесли целую пачку для черновиков), на столе рядом с компьютером написал письмо. Слова сами вылетали из ручки. Он исписал целую страницу и вручил её таинственному незнакомцу.

– Никому, о чём говорили, ни слова, – говорил посланец, убирая письмо во внутренний карман пальто. – Иначе подведёшь деда. Понял?

– Угу...

– Понял? Скажи членораздельно, мне отчитываться нужно.

– Понял, понял – ответил Петя.

– Вот так, – ответил незнакомец. – Всё же я на твоём месте пожалел бы деда. Идёмте, Пётр. Через четверть часа мы будем о-очень далеко отсюда. Поверьте, я человек опытный, битый волк, здесь будет большая кровь, много будет крови.

Слова были убедительны, чувствовалось, что говорит человек знающий, специалист, но на волка он никак не походил, какой-то несолидный, серый, невзрачный.

Петя повёл головой от плеча к плечу.



Вернувшись в комнату, Петя молча сел у стола, безучастно глядя на шкалу приёмника с обозначением длины волн, частот, названий городов, на провода, наушники.. Сергей Лыкошин налил и подвинул ему кружку чая с жёсткой краюхой чёрного хлеба. Петя пил чай, откусывал хлеб, не ощущая вкуса и не понимая, что он делает. Сознание, что он является виновником переживания и горя близких ему людей, давило его. В другие минуты он бы гордился собой, но мысль о плачущих матери и бабушки, расстроенном дедe, хорошо, хоть Валя в стороне от этого, приводила его в отчаяние. Если бы был ковёр – самолёт, как в сказке, он бы долетел до Тиховодска, всех бы успокоил и вернулся обратно. Но ковров-самолётов нет, это все знают уже в начальных классах школы.

– Пётр, это кто к тебе приходил? – спросил из-за столика, на котором он печатал и правил свои материалы, Володин.

– Знакомый один, живёт в Москве.

– И так прошёл все посты и заграждения?

– Да, прошёл.

– Он из конторы, – уверенно заявил Володин.

– Из какой конторы? – машинально спросил Лыкошин, хотя мгновенно понял, какую контору подразумевает Эдуард.

– Какой, какой, – рассердившись на его непонятливость, сказал Володин, – Контора у нас одна. Глубокого бурения. Верно, Пётр? Не ври. Смотри в глаза, – потребовал Володин, уловив тень смущения на лице Пети: ему было стыдно соврать профессору, которого он день ото дня больше уважал.

Но грубое «не ври» возмутило его.

– Не верно, – грубо: профессор ещё, а хамит, ответил он.

– Ну, ну, – ничуть не обидевшись на невежливый ответ, иронично протянул Володин и, подойдя ближе, с интересом, как учёный рассматривает под микроскопом инфузорию, поглядел на Петю. – Серёжа, полюбуйся на этого субъекта, как он научился со старшими по званию разговаривать. Ещё недельку с нами посидит, совсем мужчиной станет.

Лыкошин усмехнулся, с дружеской улыбкой глянув на Петю.



Петя хотел ответить, что он не субъект и неделю им сидеть тут не придётся. Но он дал слово молчать.

– Эх, Петрусь, Петрусь, – сказал Володин, обнял Петю, крепко прижал к себе, – Скоро эта свистопляска, беснование это уляжется. Ты молодой, долго жить будешь, к нам на верхотуру оленем избегаешь, а мы с Артамонычем забираемся сюда, так пыхтим, как два паровоза «Иосиф Сталин». Ты, даст Бог, увидишь, как сбудется над Россией пророчество батюшки Серафима, как расцветёт она, как будут сторониться народы. Это, правда, другого автора, но это тоже хорошо. Помнишь, Пётр?

Петя кивнул головой, встал, приосанился, и, испытывая чувство Импровизатора в «Египетских ночах» Пушкина, приподнято, взлетая духом во вдохновенные выси, продекламировал:

– Русь, куда же несёшься ты? дай ответ. Не даёт ответа. Чудным звоном заливаётся колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо всё, что ни есть на земли, и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народа и государства.

– Прекрасно! Превосходно! – воскликнул, аплодируя своими тяжёлыми, увесистыми дланями Лыкошин. – Ты, Пётр, в артисты иди. Я никого не слышал, чтобы так Гоголя читали.

– Да, да, Петерсон, вот так всё и будет. – задумчиво сказал Володин. – В данном случае я безоговорочно присоединяюсь к аплодисментам гражданина Лыкошина. Читаешь ты здорово. Но в артисты не иди, не слушай его. Он человек увлекающийся, порой гутарит неподобающее. Вот раньше артисты были. Симонов, Черкасов, Ливанов, Андреев, Крючков, Дикий. Фигуры! Богатыри! Рупоры народной души. Сила! А сейчас женятся по семь раз, да ещё и похваляются этим. Срам. Окурки, а не люди. А их звёздами называют.

– Эдуард Фёдорович, а у вас есть воинское звание?

– А то. Я сын офицера, и сам офицер. Я не белобилетник, как Горбачёв, не штабная крыса, я годен к строевой службе. Я майор запаса. Обрати внимание, не отставки, а запаса, так что я ещё могу пригодиться.

– А-а, – с уважением и даже завистью протянул Петя.



– А ты почему спросил?

– Так вы сказали, как я разговариваю со старшим по званию.

Володин расхохотался.

– Ох, Петраускас, Петраускас, забавный ты парень.

XVII

В перерывах между заседаниями в Доме действовал политклуб, в котором обсуждались события не только текущих дней, но и вопросы мировой истории и политики. Особой популярностью пользовались выступления Эдуарда Володина, хотя среди депутатов было тоже немало людей начитанных, с учёными, в том числе и докторскими, как у самого Володина, степенями.

Пете запомнились выступления Володина о демократии. Демократия, по словам Володина, в нашем обществе, в буквальном смысле её слова, власть народа, просто невозможна. Люди должны знать тех, кто претендует на то, чтобы руководить ими. Это могло быть осуществимо в небольших греческих городах, полисах, где свободное население могло уместиться на городской площади, агоре, отсюда слово «акрополь». Легко можно представить, насколько велико было население Афин, если все свободные граждане могли собраться на площади перед Парфеноном. Люди знали, кого они выбирали: честен человек, прямодушен, или, напротив, своекорыстен, лжив, подл и т.д. Она так и называлась полисная демократия, демократия для избранных. Рабы не принимали участие в голосовании, их не считали за людей. Но мы, православные христиане знаем, что все люди – люди. Греческая система, вроде бы имела продолжение в Римской республике. Но в Риме уже появляются влиятельные, богатые семьи, политические партии, процветает подкуп избирателей, о подлинном волеизъявлении народа говорить не приходится. Чем многочисленней становится государство, тем неотвратимей власть отчуждается от народа.



Государством управляют партии, узкий круг людей, проталкивающих к власти своих ставленников. От старых времён осталась потребность, нет, необходимость показаться своим избирателям. Но это внешнее. А душа-то у него какова? Этого он не показывает. Взять Ельцина. Каким он был, когда наверх лез? В трамвае ездил, рожки в магазине покупал. С виду хорош, высок, здоров, представителен. Душа человек. А кем обернулся? Змеем Горынычем. Крови русской захотел.

Наиболее приближённой системой к народоправству был тип советской демократии. Важные государственные вопросы обсуждались в комиссиях и комитетах, получали широкую общественную оценку. Но советская система страдала недоработками, в ней присутствовал элемент бутафории, когда желаемое выдавалось за действительное. При настоящей, действенной демократии были бы невозможны хрущёвские зигзаги вроде целины, когда ради кратковременного эффекта были растрочены впустую материальные ценности и людские ресурсы. Советскую систему следовало усовершенствовать, но не ломать.

В другой раз Володин говорил о всемирно-историческом значении Советского Союза. Впервые в мировой истории было создано государство, поставившее своей целью благо народа, которое не на словах, а на деле заботилось о народе. Сейчас все говорят о правах человека. Под этим понимается свобода делать, что твоей душе угодно и ни за что не отвечать. А главное и первейшее право, с этим со мной согласятся все и бывшие советские люди, и американцы, и загнанные этими американцами в резервации индейцы, и эскимосы, самое главное это право на жизнь. В СССР это право было гарантировано, во-первых, все граждане были надёжно защищены от голода. В СССР жизнь была построена так, что человек не мог умереть от голода. Голода в СССР не было, за исключением чрезвычайных обстоятельств, над которыми правительство не властно. В СССР настоящий голод был один раз в 1947 году. Все остальные годы вплоть до крушения СССР люди не голодали. Люди, роющиеся в мусорных контейнерах и на помойках, появились, когда не стало СССР.



Второе основное право, без которого невозможна созидательная творческая жизнь. Это право на жильё. СССР особая страна, большая её часть расположена в климате, где без жилья, как, например на острове Фиджи под пальмой, не проживёшь. Поэтому все жители были обеспечены жильём. Условия жизни были, конечно, разные, кто-то жил в пяти, а то и шестикомнатных квартирах, а кто-то ютился целой семьёй на нескольких метрах, но к девяностым годам большинство советских людей жило в благоустроенных квартирах с центральным отоплением и водопроводом. Люди, живущие на свалках, в подвалах, в камерах теплоцентралей появились, когда Советского Союза не стало.

Затем право на труд, на образование, на отдых. СССР был зримым укором Западу. Сейчас Советский Союз сошёл с геополитической сцены, упразднилась нравственная сила, на которую с надеждой смотрели миллионы людей во всём мире.

Петя не только сидел на радиостанции. Сергей Лыкошин нашёл ему занятие помимо станции. Приметив, что Петя постоянно что-то напевает вполголоса, он буквально за руку, как ребёнка (Петя стеснялся пойти сам) привёл его в комнату, где репетировали певцы, чтецы. В Доме по старой советской традиции была организована художественная самодеятельность.

Заводилой, художественным руководителем был депутат Михаил Челноков. Владелец красивого, выразительного голоса, он организовал музыкальный ансамбль, где-то раздобыл баян. Под него и пели.

Пете Челноков обрадовался, молодой голос не помешает.

Репертуар ансамбля был известный, песни Великой Отечественной войны, эстрада шестидесятых-семидесятых годов, песни Пахмутовой. Разнообразие в репертуар вносил Петя, он знал много песен шестидесятилетней давности, которых никто не знал, по радио их давно не передавали.

Михаил Челноков говорил Пете:

– Петруша, когда всё закончится, давай созвонимся. Надо, чтобы люди услышали твои песни, ведь в них наша история.



А песни-то какие! Я около трёх сотен песен знаю, а эти слышу впервые. Бой у озера Хасан, Клятва нарком, Вспомним, вспомним, боевой товарищ, Боевая лётная, Прощай, папанинская льдина – сногшибательно, поразительно. Моща, энергия, а какая духоподъёмность! Рад, Петруша, познакомиться с тобой. Спасибо Лыкошину. Я давно знал, что он наш, советский человек, ещё раз убедился в этом.

Они обменялись адресами.

Однажды Петя напевал, как выразился Челноков, старинную советскую песню. Втайне от него, чтоб не смутить, включили трансляцию на улицу. И из репродуктора полилось над площадью, над милицейскими постами, над колючей проволокой, над холодной рекой, по которой скоро на баржах будут увозить человеческие трупы:

Для нас открыты солнечные дали,
Горят огни победы над страной.
На радость нам живёт товарищ Сталин,
Наш мудрый вождь, учитель дорогой.

«Жёлтый Геббельс», передававший песенку о проститутке, поперхнулся, зачихал, замолчал и куда-то уполз с глаз долой. Народ на площади засмеялся.

– Не по нраву пришлось?

– Имени-то Сталина как чёрт ладана боится.

Когда песня закончилась, вся площадь зааплодировала и с криками:

– Ещё! Ещё!

– Сталина давай!

Петю спрашивали:

– Пётр, откуда ты знаешь эти песни, кто тебя им научил.

– Дедушка, – отвечал Петя.

– А кто у тебя дедушка, оперный певец?

– В Тиховодске нет оперного театра, а дедушка мой полковник КГБ, чекист.

– Чеки-и-ист, – разочарованно повторяли спрашивающие.



– Да, чекист, – защищал деда Петя, – чекисты, как и советская власть в разные периоды, разными были. Одни чекисты расстреляли поэта Алексея Ганина, а другой чекист полковник Лобзов первым начал писать песни на стихи Рубцова.

XVIII

Над Домом советов собралась, клубилась, пухла туча предательства и вероломства, ведь Ельцин, не выдвигая никаких условий, готовился ударить внезапно, чтобы наверняка одержать Blitzkrieg. Как это часто бывает на переломе исторических событий, вокруг Дома происходили таинственные события.

В Загорском райцентре ночью с постамента исчез танк. Вахтёр в районной администрации, который должен был нести неусыпную службу, заснул и ничегошеньки не слышал.

До жителей близлежащих домов донеслось, как среди ночи что-то затарахтело на площади, но они подумали, что это какой-то припозднившийся тракторист.

Однако позорный, беспримерный факт, о котором хочешь не хочешь, а придётся сообщать в область, был налицо: там, где вечером, задрав к небу ствол пушки, стояла боевая машина, сейчас укоризненно блесло под дождём голое место.

На малых оборотах танк спустился с пьедестала, в крошечной тьме, не включая фар, выехал за околицу и, когда очертания райцентра утонули в пелене дождя, газанул и, торжествуя, рыкнув, разбрасывая по сторонам холодную осеннюю грязь, рванул вперёд.

Суматоха поднялась страшная, губернатор дал накатку главе района (это же памятник, мемориал, а твои алкаши на нем, наверно, за вином в лавку поехали), глава района отмагивал начальника РОВД и приказал к обеду найти танк.

Самое невероятное заключалось в том, что из двигателя соляр был слит, на чём же работал двигатель? Видимо, губернатор был прав, какие-то шалопаи забрались в танк (но как они могли забраться, ведь люк заварен), заправили двигатель



и поехали. Но почему ночью? На селе не в городе, круглосуточных магазинов нет. И ладно бы за вином, а если поехали сдавать его на металлолом?

Обгоняя колёсные трактора, велосипедистов, пешеходов и попутные машины, танк скоро выбрался с просёлка на шоссе и наматывал километр за километром, удивляя своим появлением всех, кто попадался навстречу или обгонял его. Когда позднее была составлена обобщающая справка о рейде танка по трассе, то оказалось, что никто не пострадал, не только никто не погиб во время создававшихся помех движению, но никто не получил даже лёгких телесных повреждений, танк искусно маневрировал в сложных ситуациях, явно избегая причинить кому-либо вред. Первыми, озаботились появлением боевой машины гаишники. Заявок на прохождение бронетанкового средства от военного ведомства не поступало и, стало быть, танк ехал по дороге незаконно. Нарушал. Его нужно тормознуть и выяснить, почему он загромождает дорогу. На первом же посту ГАИ бравый сержант просигналил танку жезлом остановиться. Но танк, не снижая скорости, промчался мимо. Экипаж патрульной машины пустился в погоню, быстро догнал нарушителя. Но как принудить танк замереть на обочине? Не станешь же ему кричать: танк, сверните к обочине! И смущала патрульных надпись на боку. Что такое ВКП(б) они не могли взять в толк. ВКП ещё как-то поддавалась расшифровке: военно-промышленный комплекс, но «б» никак не расшифровывалось. Большой, бывший, благородный? Голову сломаешь.

Встать на пути танка, загородив ему путь, такой приём, который в ходу у гаишников, ничего не сулил, танк откинет в сторону машину, как пустую консервную банку. Был ещё один приём, его использовали на крайний случай: стрельба по колёсам, но он, по причине отсутствия колёс, отпадал.

Связавшись с начальством, патрульная машина продолжала преследование, ей ничего другого не оставалось.

Выслали подкрепление, ещё патрульную машину, потом ещё одну. Вскоре за танком следовал эскорт из десяти ма-



шин. Сыскались ловкачи, которые из патрульной машины перебрались на танк, стучали по башне гаечными ключами. Без ответа. На люке обнаружили сварочные швы. Получалось, что танк пуст, там никого нет. Это противоречило всем материалистическим законам, но танк вёл себя как разумное существо, соблюдал дистанцию, умело выполнял левые повороты; когда следовал через Ярославль, дисциплинированно стоял на светофорах, дожидаясь, пока красный свет сменится зелёным. Немного отъехав от Ярославля, танк совершил то, что в газетах называют актом гражданского мужества. Пьяный водитель самосвала выехал на встречную полосу, по которой ехал автобус с детьми. Радостные дети в нарядных костюмах спешили на фестиваль народного творчества. Самосвал и автобус быстро сближались, рокового столкновения не избежать. Но в это же время на шоссе оказался танк. Резко (гусеницы заскрежетали по асфальту, выбив снопы искр) развернувшись, танк бросился на перерез пьяной машине, приняв на себя удар. Самосвал остановился, катастрофа была предотвращена. Танк поехал дальше, пьяного шофёра сотрудники МЧС автогеном вырезали из кабины, а гаишники потом в шесть рук били его на посту за то, что он испортил им месячные показатели.

Но куда танк держит курс? Маршрут его следования свидетельствовал однозначно: танк стремится в Москву. Надо его остановить. Дорогу перегородили КАМАЗами. Танк подъехал к препятствию и замер. Несколько минут танк раздумывал: как быть. Затем на самом малом ходу пододвинулся к средней машине и аккуратно, даже, если слово это применимо к 26-тонной машине, бережно двинул с места КАМАЗ и так двигал, пока развернул его вдоль дороги. Десятки людей: милиционеры в генеральских чинах, полковники в папах, офицеры, рядовые, шофёры проезжавших машин следили за танковыми манипуляциями. А танк, раздвинув два КАМАЗа, при чём не оставив даже царапины на них, ринулся вновь по шоссе.

Известие о танке дошло до президентского кабинета.



– Чует моё сердце, – говорил Ельцин, ходя по кабинету и сжимая кулаки. – Это америкашки, поганцы, фокусы строят. Чего-то им от меня надо? Вроде всё им дал, всё выполнил. Им всё мало. Нет, российский президент перед вами раком не станет. Не дождётесь. До чего же народец ненасытный.

– Да нет, Борис Николаевич, – посмеивался Коржаков, – янки не при чём, это наши местные, комуняки недобитые мудрят.

– Так я их добыю, добыю, – неистовствовал Ельцин. – Позабудут они, как законного президента злить.

В это время пришло сообщение о капитан-лейтенанте Остапенко, который во главе малого отряда добровольцев выступил на помощь Дому Советов. Допустить соединения танка и отряда Остапенко ни в коем случае нельзя.

Из Москвы поступила команда: остановить танк любой ценой. Любой ценой, так любой. Шоссе заблокировали, поток машин отправили маяться по объездным просёлкам, на дороге выкатили противотанковую пушку и, едва танк оказался в пределах видимости, расчёт открыл огонь. Но орудие, на недавних учениях показавшее отличную безотказную работу всех механизмов, давало отказ за отказом. Расчёт действовал, как учили, установили прицел, заряжающий дослал снаряд в ствол, командир орудия скомандовал «Огонь», но спуск не сработал. И второй, и третий раз. Пока расчёт колдовал над пушкой, пытаясь устранить неисправность, танк приблизился к пушке, но давить её, как положено в боевой обстановке, не стал, а обогнул и проследовал дальше.

Сменили рубеж, и орудие, и снаряды, но подбить так и не смогли. Чудеса да и только.

Тогда взяли гранатомёт. Осечки следовали и тут.

– ПТУРСы¹⁹ применить надо, – сказал у себя в кабинете президент, – Учить вас.

– Борис Николаевич, – нарочито удивился Коржаков, – вы и о ПТУРСах знаете?

¹⁹ ПТУРС – противотанковый управляемый ракетный снаряд. Самое действенное средство борьбы с танками.



– У меня ж звание полковник, – самодовольно отозвался Ельцин. – Голова у меня не только для того, чтобы папаху на ней носить.

Но и ПТУРСы не помогли. В штабе операции «Тормоз» (так назвали операцию по остановке танка) оказался один экстрасенс. Он удалился от всех, заперся в отдельном кабинете, долго медитировал там, выходил в астрал, и вынес вердикт: проблема решается просто: советская техника отказывается стрелять по советской. Получалась несусветная ерунда, бездушная техника оказывалась умнее людей.

Но делать нечего, Москва ждёт исполнения приказа. Чего ж не попробовать. С какого-то секретного склада привезли три НАТОвских гранатомёта, с надписью «Made in USA» и в тот самое время, когда отряд Остапенко погибал в подстроенной ему засаде, танк был подбит. Граната перебила левую гусеницу и он, ещё не потеряв хода, завертелся на месте. Вторая граната прошла насквозь башню. А танк ничем ответить не мог.

Два автокрана убрали танк с дороги, чтобы не мозолил глаза. Все данные по операции «Тормоз» засекретили.

На металлургическом заводе, куда доставили мёртвый танк и загрузили его в плавильную печь, вскоре случилась крупная авария.

Так заканчивается повествование, которое можно было бы смело назвать фантастическим, если бы как говорят в народе: это не факт, это было на самом деле.

XIX

Вечером в домашнем кабинете Животова чуть слышно мяукнул телефон. Владимир Степанович снял трубку и засобирался на улицу.

– Куда? – спросила Нина Витальевна,

– На минутку, – сказал Животов, шагая за дверь. – Мимо жены комитетчика и муха незамеченной не пролетит.



– Не смешно, – отрезала Нина Витальевна. – Надоели мне твои шуточки хуже горькой редьки.

«Можно подумать, ты её ела, – подумал Животов, озабоченно сбегая по лестнице.

Через три минуты он вернулся в квартиру с листком белой бумаги, сложенным вчетверо.

– Письмо от Петра, – грустно возгласил он в прихожей.

Мигом к нему подскочила Нина Витальевна, из своей комнаты выбежала Светлана, перелистывавшая там альбом с детскими карточками Пети.

– Где оно? – закричала Светлана. – Дай сюда. Я его мать.

– А я дед, – Животов убрал письмо за спину.

– А я бабка, – Нина Витальевна попыталась вырвать письмо.

– Отдай письмо. – Светлана вцепилась в руки Животова. Он держал письмо перед грудью. Взгляд дочери сочился злобой и ненавистью. – Отдай, говорю. Иначе вырву.

– Не вырвешь, – никогда не уступавший угрозам, сказал Животов решительно и приказным тоном подчеркнул, – сам прочитаю вслух.

Он отёр носовым платком капельки крови с ладоней: с такой силой впилась Светлана ногтями в руку. Расправил листок и глуховатым голосом стал читать.

Письмо Пети было сумбурным, хаотичным, повторявшим ход переполнявших его голову образов, которые не произвели на слушавших ожидаемого Петей воздействия, а перечисление им имён маршалов вызвало у Нины Витальевны скептическую усмешку, какую вызывают размышления ребёнка, старающегося казаться взрослым. Светлана во время чтения смотрела за окно, за которым двигался поток тёмных машин.

Владимир Степанович замолчал. Наступившую тишину никто не решался нарушить.

– Какая-то каша, – наконец, первой заговорила Нина Витальевна, – всё свалено в кучу, с пятого на десятое, а что он хотел сказать? Ничего не понимаю.

– Как письмо вообще к нам попало? – словно сама с собой говорила Светлана. – Почтальон так поздно писем не носит.



– Спецкурьер доставил, – пояснил Животов, строго посмотрев на дочку, в голосе которой прозвучали непривычные нотки.

– Ясно. Всё-то у вас спец. курьеры, техника, переписка, всё не как у людей.

– Света, что это ты?

– Да то это я! – взвизгнула Светлана. – Ты, ты виноват, что Петька таким вырос. Нормальным-то детям дедушки про сороку-ворону сказки рассказывают, по ладошке пальцем кашку разводят, а наш дед трёхлетнему соплюну сагу про битву под Москвой разворачивает, да парад 7 ноября в красках расписывает. Я прислушалась, рехнулся, думаю, дед наш на службе комитетской. Жаждал внука, дождался. Воспитывает патриота. Ребёнок к пяти-то годам всё Политбюро знал или только половину? А к шести биографию вождя и учителя...

Животов открыл шкафчик, где хранились медикаменты, но бедную Светлану понесло, с ней случилась истерика.

– Не доставай ничего, не помогут мне ваши лекарства, – завизжала неутешная мать. Бабушка скорей закрыла форточку, на улице слышно. – Вырастили чадо ненаглядное, государственного деятеля, никого не слушает, ночью из дома убежал, никого не спросил, мать родную бросил, бабу с дедкой, ладно, мы люди отработанные, а девушку какую бросил, где такую и нашёл, сейчас девки-то через одну абортницы, лярвы-демократки, курят да матерятся, а тут и умница, и скромница, как со дна морского достал, берёг бы жемчужину, так ведь и её бросил. Не могу я, у меня долг. Твой долг не по Москве болтаться, жрать что попало, спать, где придётся, да дураков разных слушать, а мать в старости холить, дедке с бабушкой утехой быть. А вместо утехи ночи бессонные, сны кошмарные, думы чёрные. Зачем я его к нему отпустила, зачем, – слёзы хлынули из глаз Светланы.

Животов ни разу не видел, чтобы слёзы действительно текли ручьём, он думал, что люди только так говорят.

– Светочка, Светуля, – он взял дочь за руку, – не надо, не плачь.



– Поплачь, дочка, поплачь, – перебила его Нина Витальевна. – Тебе легче станет.

– Петенька, – завывала Светлана, кинувшись на диван.

– Да что вы раньше времени его хороните, – крикнул Животов. – Ведь ничего ещё не случилось, это всего-навсего письмо, бумажка.

Светлана зарыдала ещё громче.

Только к полуночи, утомившись от слёз и воспоминаний, Светлана заснула. В квартире Животова установился покой, какой бывает в больничных палатах. Спала Нина Витальевна, спала, вздрагивая во сне, Светлана, не спал один на балконе Владимир Степанович. Не переставая дул холодный, северный ветер, по небу летели цепи свинцовых облаков, а над древней Успенской колокольной в разрывы облаков по своей многовековой привычке светила луна.

XX

Развязка близилась. Чтобы ускорить её, в Москву из областных управлений съезжались отборные отряды милиционеров. Ехали с охоткой, весело, опасности почти никакой, а деньги, награды, а то и чины, ведь изменчивая милицейская фортуна может всяко повернуться, светят реально; ехали в специально снятых вагонах, с винцом, с мечтами. Также в столицу ехали воры, мошенники, бандиты, заваруха наклеивалась крупная, можно хорошо погреть руки, оружием разжиться. Эта публика ехала, конечно, со словами о свободе на устах, какой вор не мечтает о свободе безнаказанно грабить и убивать.

Но ехали и совсем иные люди. Таких людей немного. Они наперечёт. Как сын не ждёт от матери ни денег, ни наград, ни чинов, а просто любит её, так эти люди просто любили Родину, потому что Бог любовью создал мир, потому что человек только для того и рождается, чтобы любить свою Родину.



Вечером за час до отхода поезда на Москву в Ленинграде жена провожала мужа в дорогу.

Он был кинорежиссёр – документалист. Молод. Честен. Справедлив. Он должен был ехать туда. Его звало сердце.

Уже у дверей, не утирая слёз, она крестила его, а вещее женское сердце чуяло, что провожание на прощанье. Знала, что он не услышит, но всё же просила:

– Не ездил бы, Саша. Без тебя обойдутся.

– Ага, – насмешливо, как всегда, отвечал он. – Как у Демьяна Бедного. В Красной армии штыки чай найдутся. Без тебя большевики обойдутся. Не обойдутся.

Поцеловал жену и детей: сына и дочурку. И ушёл.

Тьме ненавистен свет, злодейство не терпит свидетелей. Опасен свидетель с камерой. Написать и сказать можно всё, бумага всё стерпит, а язык без костей. Камера передаёт то, что видит. Правдивый взгляд страшен лжецам. За такими свидетелями охотились.

Фигура Саши с камерой была хорошо заметна. Прозвучал не слышимый в общей буре пальбы и грохоте танковых пушек выстрел. Упал Саша, и кровь его залила объектив.

Штурм практически безоружного Дома Советов (на 62 автомата, имевшихся в Доме, при чём был приказ по нападавшим не стрелять, было брошено 185 единиц бронетехники, в их числе 10 танков) начался в 7-м часу утра. Сначала стреляли из автоматов и снайперских винтовок, потом вдали послышалось рокотание, как будто там заработали бензопилы «Дружба». Рокот приближался, загустевал, креп, и всем стало понятно, что к Дому идут бронетранспортёры и боевые машины пехоты. Но, покрывая шум от БТРов, штурмовой волной накатывался тяжёлый гул. То шли танки, так оглушающе страшно могут реветь одни танковые двигатели, восемьсот лошадиных сил, заключённых в корпус двигателя.

Петя видел в окно въезжавшие на площадь и разворачивающиеся перед атакой БТРы. Из палаток на площади стали выбираться люди и бежать, некоторые из них падали. «Почему



они запинаятся, падают и не встают» – подумал Петя и внезапно понял, что это падают убитые люди. Вид убитых людей потряс его. Ему стало страшно, «Надо мне было уйти» – подумал он о человеке, приходившем от деда. А несколько БТРов ехали прямо по палаткам, в которых могли быть люди. Петя приоткрыл форточку. В комнату ворвался шум моторов, в котором слышны были прерывистые строчки очередей крупнокалиберных пулемётов.

В это время подошли танки, выстроились в шеренгу. Их покатые, приплюснутые башни, походили на шляпки грибов, только громадных, стальных. Шевельнулись стволы пушек, поднялись, уставили свои жерла на окна Дома Советов.

На мосту недалеко от стадиона «Красная Пресня» собрался народ.

– Неужели будут стрелять? – сказал кто-то осекающимся голосом.

– Не может быть, на испуг берут, – возразил ему голос потвёрже, – Столько свидетелей.

– Плевали они на свидетелей. Им даже лучше, что они есть. Они хотят показать, что они ни кого не боятся, не стыдятся.

– А буржуи и рады, что Советскую власть расстреливают, – сказал молодой голос. – Коммунаров в Париже расстреливали, так господа из шикарных квартир радовались.

– Смотрите, – сказал кто-то и показал рукой.

Крыши домов, стоявших вокруг, балконы многоэтажек были усеяны людьми.

– Зеваки, – сказал кто-то презрительно на мосту.

– А сам-то, – возразили ему.

И в этот момент танк выстрелил. Звук был так оглушительен, словно треснуло и разорвалось, жажнув упругой волной, само небо. Люди на мосту закрыли руками уши, звук больно ударил по перепонкам. У иных мужчин слетели шляпы. Они бросились их ловить.

Петя, не отходивший от окна, почувствовал, как дрогнуло всё большое, монолитное здание Дома.

– Разрывными стреляют, – сказал Лыкошин.



– Ах ты, президент, – вскрикнул Володин и злобно выругался. – Прости, Пётр, не могу. Клялся, мразь, на Конституции, соблюдать её, а сам людей убивает. Ты куда, Пётр? – спросил Володин, увидев, что Петя подошёл к двери. – Не уходи никуда, стой тут. Если что случится, мы твои единственные заступники.

– Я сейчас вернусь, – сказал Петя.

Вся душа, всё естество Пети было поражено, поколеблено совершавшимся на его глазах. Так, должно быть, люди теряют рассудок, сходят с ума. Когда то, чего не должно быть, что противоречит всей человеческой жизни, самому разуму, чего не может быть, оно осуществляется, происходит на его глазах. Ум, душа отказываются воспринимать происходящее. Но оно вопреки всему происходит, совершается и он ничем не в состоянии помешать этому. Петя чувствовал себя как во сне, в полуобморочном состоянии. Он сразу забыл слова Володи-на, шёл по коридору, вздрагивавшему, от танковых выстрелов здания.

Минуты назад это были живые люди, а сейчас трупы. И это происходит в Москве. Почему? Зачем? Кто разрешил этим людям стрелять? Кто позволил русским советским людям убивать таких же людей?

Из коридора вниз вела лестница. Петя ступил на неё и дошёл до самого низа. По лестнице и внизу, в большом зале вестибюля ходили, сновали люди, но он не видел их. Лестница кончилась у двери.

Вспомнился почему-то писатель Стефан Цвейг, осада турками Константинополя, странное слово – керкапорта (калитка). Петя толкнул дверь, она открылась, и он вышел на улицу.

Первое чувство, охватившее его, было чувство свободы от окружавших и вздрагивавших от выстрелов пушек стен, чувство, что он один – двор оказался здесь безлюден – и может идти куда хочет.

Колыхавшийся, ходивший плотными волнами воздух, умопомрачительный рёв, который производили десятки работавших двигателей танков и бронемашин, стрельба из ав-



томатов и пулемётов, танковые залпы, слышавшиеся и справа и слева и даже откуда-то сверху, людские голоса, всё это опаматовало Петю.

Он очнулся от обморока и в это же мгновение понял, что совершил непростительную, страшную ошибку. В Доме он был под защитой стен, он был не один, с хорошими друзьями, а здесь он был наедине с этим ужасным шумом, с неизвестностью. Сейчас он абсолютно беззащитен, его может убить любой, кому он подвернётся. В ужасе, от которого затрепетало всё его тело, Петя кинулся назад, рванул дверь, но она оказалась заперта. Как так, этого не может быть, я же отошёл от неё всего несколько секунд назад. В отчаянии, со слезами он дёргал, рвал дверь, но она не подавалась.

Петя выглянул из-за угла дома, перебежал дорогу и шёл, оглядываясь, по какой-то узенькой улочке, потом между рядов гаражей, шум с площади здесь был глуше, прямо оазис тишины. Вдруг – на него из-за гаража вышли три милиционера, с автоматами наперевес. Петя оцепенел, он так испугался, что едва не бросился наутёк, но во время удержался – пуля быстрее. Старшим был лейтенант, справа сержант, слева рядовой. Все в бронежилетах, надетых поверх курток, отчего все трое казались пузанами. «Главное, не растеряться – всегда учил его дед. – Не показывать, что тебе страшно.»

Его обыскали, вытащили из кармана деньги, сержант запехнул их в карман.

– Вы что делаете? – возмутился Петя.

– Тебе они уже не понадобятся, – ухмыльнулся сержант, но половину денег вернул. – На, подавись.

Петя промолчал.

– Оо, холодное оружие. – воскликнул майор, вытаскивая руку из Петиного кармана. Милиционеры сунулись посмотреть, и отпрянули, один даже сплюнул: то был небольшой ножик с наборной зелёной ручкой.

– Кто такой будешь? – спрашивал лейтенант.

– Здешний, москвич я.

– Документы?



Петя подумал, что эти трое тоже боятся его, милиционеры чуть не тычут ему автоматами в грудь. В это время из-за гаражей вышел ещё один милиционер, майор. Стал рядом, слушая допрос. Худощавый, лицо у него, как у приноживающейся собаки.

– Не ношу с собой документов..

– Надо носить. Где живёшь?

– На Беговой улице, – сказал Петя. Там жил Петин дядя, старший брат матери, он был у него в позапрошлом году.

– Чего тут делаешь?

– Ходил к другу.

– А друг где живёт?

Он назвал адрес знакомого Володина, жившего неподалёку. Володин собирался послать его к нему, заставил заучить адрес, но так и не собрался послать.

– Отвечает уверенно, – обращаясь к майору, сказал лейтенант, – похоже не врёт. Отпустить, что ли?

– Московские они все такие, – сказал майор. – Языки у них подвешены. От кого угодно отоврутся.

Петя понял, что милиционеры приезжие и, пожалуй, ему удастся вывернуться.

– Так я пошёл, – сказал Петя, поворачиваясь, чтоб идти

– Катись, да не болтайся тут, а то пулю схлопочешь, – сказал лейтенант..

– Постой-ко, постой-ко, – схватил его плечо куртки майор. – Чтой-то голосок мне твой знаком, напоминает. На какой, говоришь, улице твой дядя живёт?

Петя, не подозревая, что попался опытному розыскнику, ищейке по натуре своей, твёрдым голосом повторил адрес.

– А вот он, – со злобным торжеством охотника, поймавшего-таки зверя, воскликнул майор, потирая руки. – Певун он, тот самый, которого генерал велел, если попадётся, к нему доставить.

– Точно. Он, – сказал завистливо, что не ему выпала такая удача, молоденький лейтенант и пнул Петю.

– Вы почему пинаетесь? – вспыхнул Петя.



– Заткнись, – ударив его по затылку, так что у мальчика потемнело в глазах, рыкнул толстый сержант. – Сучонок. Ты у нас г... есть будешь, а не то, что по затылку.

– Сам жри, – не стерпел Петя. – На хлеб намазывай.

– Б-ш, – сержант схватил Петю за куртку, сдавил грудь, – я твою комулячью рожу...

Петя легко развёл его руки.

– Ах ты, – рассвирепев, что у какого-то мальчишки силы не меньше чем у него, бросился на него сержант.

– Нестеров, – рывкнул майор, ударив сержанта по рукам. – Руки убрал.

– Чего, – злобно хмурясь, сержант отшагнул назад..

– Не чего, а не распускай руки. Он генералу нужен. Если отдаст тебе генерал, делай с ним, чего хочешь.

Петю повели к генералу.

Генерал-лейтенант, сидел за столом начальника РОВД и рассматривал свои ногти. Он не взглянул на Петю, когда майор докладывал о поимке мятежника. И только, когда майор закончил, поднял взгляд на Петю. Пете генерал напоминал мумию древнего египтянина: впалые щёки, смуглый, даже жёлтый череп, лысеющий лоб с зачёсанными на него прядями волос. Петя почему-то ничуть не испугался генерала и спокойно встретил взгляд его голубовато – серых, совсем не милицеских глаз.

– Песни, значит, поёшь, – сказал генерал. – Хорошие песни.

Майор не верил своим ушам. В голосе генерала звучали тёплые, приветливые нотки. В министерстве, как шутил генерал «далеко не здравоохранения», о генерале шла слава как о человеке жёстком, бескомпромиссном, грубом, одним словом, немилосердным, он никому не спускал и не прощал ошибок. Поэтому майор не сомневался, что генерал бросит через губу: «Делайте с ним, что хотите». Майору было невдомёк, что отец генерала – фронтовой офицер-артиллерист, командир полка был удостоен десяти благодарностей Верховного Главнокомандующего, и генералу было любопытно взглянуть на человека, который прилюдно поёт такие песни, какие пел Петя.



Но открыто проявить свои чувства генерал не мог.

– Майор, – нахмурившись, сказал он, – отведи этого парня за квартал отсюда, за линию оцепления и отпусти. Если будут останавливать, скажи, что это мой приказ. Понял?

– Так точно.

– Смотри, без глупостей.

Петя, почувствовав, что смертельная беда пронеслась над ним, от волнения, сказал:

– Спасибо, – и на непослушных, вдруг ставших ватными ногах, пошёл за майором между каких-то вагончиков, стоявших на земле, заборов, ржавых вонючих контейнеров. Хотелось говорить что-то радостное, сказать, какой Вы добрый и умный, товарищ генерал, но слова не шли на язык, в голове звенело: свободен, свободен, мелькали лица матери, сестры, деда, Вали. Что же, всё клевета, что говорят о зверствах милиции?

Майор остановил его.

– Дальше не заблудишься?

Петя подумал, что квартала они не прошли, но спрашивать не стал.

– Не заблужусь.

– Ну, иди тогда, – сухо сказал майор, добавив, как показалось Пете, ласково: – Певун.

Петя сделал только три шага, когда майор поднял руку с уже приготовленным пистолетом и два раза выстрелил мальчику в голову. По-волчьи подскочив, он обшарил карманы, поднял ещё трепетное тело, подтащил его и завалил в контейнер.

– Пой там, сволота, сколько влезет.

Он нагнулся и поднял с асфальта, выпавший из кармана куртки убитого ножик с изумрудной наборной ручкой.

XXI

Непрерывная стрельба по дому длилась более десяти часов. Позднее, на площади и внутри Дома собрали около пятидесяти тысяч автоматных и пулемётных гильз, количество,



сравнимое с расходом боеприпасов в крупном сражении Великой Отечественной войны.

Но накануне в Останкино пролилась большая кровь. По-нятно стремление людей остановить поток вранья и клеветы на Верховный совет. Какие только небылицы, сплетни, оскорбления, ругательства не лились в печати на Дом Советов. Но несоизмеримо с прессой влияние на людей телевидения. Люди хотели поставить телевидение под народный контроль и охотно откликнулись на призыв пойти на Останкино. Однако людей повели наобум. Генерал А. Макашов знал, как человек военный, что без разведки на войне ничего не делается, противник хитрит, ловчит, пытается обмануть тебя. Должной разведки не провели, поверили ни на чём не основанным слухам, и людей повели, как оказалось, на смерть. Телевидение осталось верно себе, была снята сцена, в которой грузовик таранит и разбивает стекло. Это выдавалось за штурм Останкина. Была пущена строка, что передачи ведутся из запасной студии. Всё это была ложь. На лжи строилось ельцинское государство.

Во время штурма, чтобы озлобить штурмующих, охотно прибегали к провокациям. Есть много случаев, когда люди погибали от пуль, выпущенных не из Дома советов.

Солдаты, встав в башне одной БМП, строчили из автоматов по Дому, вдруг один из них, как-то муркнув, осел, поник головой и покатился с БМП.

– Толян! Толян! – вскрикнул его друг. Подняв друга, он увидел, что из-под каски на затылок течёт кровь.

– Ну гады. – Он выкинул кулак в направлении Дома, – Поплатитесь вы. Умоетесь, фашисты, кровью.

– Какие фашисты, – схватил его за плечи сослуживец, – стреляли-то с другой стороны.

– С какой другой?

Говоривший, прижимаясь щекой к прикладу, показал большим пальцем назад, где высилось посольство США. Снимая каску с головы убитого друга, солдат оглянулся, в глаза ему брызнул мелькнувший огонёк выстрела.



– А, видел! видел! Курвы американские, своих индейцев перебили, за нас взялись. В спины, гадюки, стреляют, – в бешенстве он направил автомат в сторону огонька, но командир БМП, не сводивший с него глаз, ударил сверху по стволу автомата.

– Пусти, старшой, – рвался солдат – Что же они, падлы матрасники, делают, в нашей Москве наших же, гадьё, мочат.

Матрасниками солдаты прозвали американцев из-за расцветки их флага, весьма напоминающей материю, потребную для обивки упомянутого кроватного предмета.

Существовал строжайший приказ, чтобы ни одна пуля не попала на территорию посольства, иначе будет жуткий международный скандал.

– Как всё кончится, – продолжал бушевать уже для вида успокоившийся – солдат. – Отосплюсь, пойду в увольниловку, встречу американца на улице, всю харю ему размолочу. Узнает что такое русский кулак.

– Да как ты узнаешь, американец он или нет? – спрашивали у него друзья в минуту передышки. Усевшись в БМП, они распивали бутылку водки, которыми их снабдили добрые люди, когда они ехали на позицию.

Добрые люди, плюнув на правила уличного движения и собственную безопасность, выбегали на дорогу, по которой шли бронемашины и совали бутылки и пакеты с закусью солдатам, стоявшим в башнях.

– Паспорт будешь у него спрашивать?

– На кой паспорт, – говорил Денис, закусывая глоток водки гамбургером из макдональдса, – неужто я американца от своего не отличу.

– И как отличишь?

– Да если рожа наглая, так это и есть американец. Тут ему и кранты. Начищу я ему хлебальник, будет помнить.

– Рука у тебя устанет, у пол-Москвы сейчас рожи наглые.

– Слушайте, пацаны, – сказал Серёга, отхлебнувший из бутылки, – вроде водка какая-то не такая.

– Серёг, – отозвался Денис, – я тоже хотел сказать, да подумал, может столько стреляем, всё порохом пропахло.



– Нет, не порохом, Честно, пацаны, утром другая водка была. А эта противная, ацетоном отдаёт.

– Вот гады, своего родного, российского солдата палёной водярой травят. Скажу ротному, чего они нам дают.

– Сиди, молчи. Ротному он позвонит. Ротный тебя отматюгает как надо, и будет прав. Пятый час стреляем без передышки, до ствола не дотронешься, всё порохом провоняло, а ему водка не хороша. Жри, какую дают, тем более бесплатно. Вспоминать на гражданке будешь армию: оденут, обуют, накормят до отвала, ещё и в бак залить дадут.

Накануне вечером в казарме зам. командира по воспитательной работе (по – солдатски замполит) учил их, что Верховный совет зарвался, поставил себя выше президента, а в стране должен быть один хозяин. И в Евангелии об этом говорится, что если в царстве будет двоевластие, такое государство не устоит.

– Замполиту за это деньги платят, – сказал Денис в курилке, – чтоб он нам говорил, кто прав, а кто виноват. Ещё и Евангелие приплёл.

– Денег грозятся дать, – сказал Толян. – Не напрасно прослужим, с деньгами на гражданку вернёмся.

– И много дадут?

– Рядовому сто тысяч, офицерне по двести, а генералам по пол – лимона.

– Разве это деньги, бутылка водки тыщу стоит. Нет, я за копейки душу не продам.

– А не за копейки?

– Не за копейки можно. Жить-то надо.

– А для меня это не копейки, а деньги. И хорошие. Я в детстве вырос, таких денег в руках не держал.

А сегодня Толян лежит на краю БМП, накрыт плащ-палаткой.



Ещё со времён Римской республики историки заметили, что многие судьбоносные события для народа вершатся в столице государства. Подтверждалось это правило и в нашем Отечестве. Судьба Российской империи решилась в февральские дни 1917 года в Петрограде. Буря, которую ждали и призывали, думая, что их-то она не коснётся, от неё пострадают только другие, началась в Петрограде. В декабрьские дни 1941 года в Москве решалась судьба Советского Союза, если бы Сталин дрогнул и покинул столицу, неизвестно в каком бы государстве сейчас мы жили. Так и в октябрьские дни 1993 года, потрясённая в августе 1991 года, но устоявшая от удара Россия, в Москве решала свою участь. Взоры всего мира, наших врагов и сочувствующих, были обращены к Москве. Восторжествуют ли правда, справедливость, конституция, как нерушимый закон, или возьмёт верх произвол, самоуправство, будет ли Россия действительно свободной или придёт свобода грубой и наглой силы. Это решалось в те дни.

Во всех городах России люди волновались и переживали происходящее.

В Тиховодске кипели страсти не только в здании областной администрации, но и в учреждении, которое было построено ещё при царе Александре Благословенном, при царях именовалось тюремным замком, а сейчас имело свою нумерацию в управлении по делам исполнения наказаний, а в просторечии именовалось женской тюрьмой.

Здесь тоже было неспокойно. Женщины, как народ более внушаемый и истеричный, обладающий большим буйством фантазии, были захвачены вихрем политических московских баталий, ожидая от них изменений в своей однообразной жизни. Ждали послаблений режима, увеличения количества передач, кое-кто мечтал о загородных прогулках, выездах на природу. Погрузят отряд в автобус, вывезут за город и до обеда гуляй, где тебе вздумается. Фантазия другой заходила так далеко, что по рецептам врачей-диетологов для поднятия



тонуса перед обедом будут давать по банке пива. Эту мысль – пожелание высказала хроническая алкоголичка, старуха Катерина Дмитриевна. Каким-то образом она ухитрялась даже в зоне быть каждый день, как говорится, под балдой. То ли ей кто-то проносил выпивку из персонала, то ли она нюхала что-то, но на вопросы начальника отряда почему от неё опять пахнет, она отвечала, что от неё пахнет с детства, как у писателя Гоголя нянька уронила кого-то в детстве, и от него припахивало хмельным. Это же случилось и с ней.

От противостояния Верховного Совета и президента все ждали чего-то. В первую очередь, конечно, амнистию. По общему мнению, её даст президент. Всеобщие симпатии и поддержка были на его стороне. Обитатели колонии жадно прочитывали все газеты с хроникой борьбы и то впадали в уныние, то в восторг, в зависимости от того, о чём писалось в газетах.

– Наш Боренька одержит над комуняками победу, – мечтала в курилке Оксанка, молодая женщина, сидевшая по 30-й статье, за наркоту. – На радостях трахнет в кабинете по рюмашке..

– Чего ты несёшь, – оспорили её – он рюмашками не пьёт, стаканами глушит.

– Не ври, стаканами, Он уже мужчина в годах, ему сейчас стаканами нельзя, врач не разрешает, сердце не выдержит. По молодости, тогда, да. Может, и стаканами.

– А чего ж нам не пить

При советской власти.

Из-за этой власти

У нас все напасти, – сипло пропела бабка Катерина.

– Вот дерябнет он по рюмашке, – дождавшись, когда дебаты прекратятся, лениво мечтала наркоторговка, – расслабятся, и подумает...

– ...Не начать ли мне вешать тех, – снова перебили её, – кто наркотой торгует, как это делают в Иране.

– ...В натуре, дайте договорить. Опрокинет он рюмашку другую и подумает, не объявить ли мне, раз теперь власть вся



моя, амнистию моим бабам российским. Чего ж им в зонах париться, пусть на свободе гуляют.

Все захохотали, и стали мечтать, как они будут жить после амнистии, чего купят, куда поедут. Почти все работали на швейном производстве. Платили там гроши, вычитали за всё: за содержание, за питание, за охрану, но у кого срок более-мнее, лет пять, у того на счёт капало прилично.

– На свободу с чистой совестью и мешком денег.

– Девки, – вбежала в курилку Нинка-конструктор, её прозвали так потому что, убив своего мужа, она расчленила его, разобрала на части как в детском конструкторе, – там репортаж из Москвы. Танки там.

Все вымелись из курилки в бытовую комнату, словно их всосало туда сопло мощного пылесоса.

В бытовой комнате вдоль четырёх стен стояли холодильники и небольшие столики с тарелками, чашками, кипятильниками и прочей кухонной утварью. Здесь обычно чаёвничали по вечерам, коротая время до ужина. В комнате было чисто, прибрано, в воздухе не было той кислой вони, которая сопутствует отрядным помещениям мужчин, словно помещения там отродясь не проветривали.

На самом высоком холодильнике, видный отовсюду, работал телевизор, Вообще-то его разрешалось включать только вечером, но по случаю московских событий сегодня он работал и днём.

Телевизор после долгих споров, сопровождавшихся яростной руганью и даже мордобитием, расцарапанными лицами, выдернанными волосами и сломанными ногтями, был помещён в бытовую комнату. Отряд размещался в трёх больших комнатах. Естественно, каждая комната хотела прописать телевизор у себя. Две другие комнаты, разумеется, были против и вступали в жестокую борьбу. Конец спорам положила начальник отряда, приказав поместить его в бытовую комнату, где все встречались наиболее часто.

– Танки! – боязливо сказал кто-то вполголоса. Раньше все видели танки только на картинках да в кино.



Камера показала Дом Верховного совета, а перед ним выстроившиеся в ряд танки. Они были настолько малы в сравнении с многоэтажным зданием, что не верилось будто такие игрушки могут нанести какой – либо вред многоэтажной кирпично- железобетонной громадине.

– Это недалеко от метро Краснопресненской, – говорила женщина, урождённая москвичка.- Вон там хороший продуктовый магазин, там ткани, а там тюль можно...

– Тише, тише, – не слушая её, заговорило несколько голосов.

Диктор, изображая объективность, но себя побороть не мог, и в голосе его слышалась торжественность и плохо скрываемое злорадство, быстро говорил, что президент пытался разрешить конфликт мирными средствами, но мятежники..

– Какие мятежники, они действуют по конституции...

Её зашикали:

– Не мешай, дай послушать.

Первый выстрел встретили в угрюмом молчании, как-то всем подумалось: среди белого дня, в Москве, но последующие залпы, разрывы снарядов у взвинченных комментарием диктора зрителей вызывали восторженный рёв и плеск ладоней.

Из окон Дома валил чёрный дым, вырывались языки огня.

Казалось, вернулись времена языческого, немилосердного Рима, где самыми страстными и жестокими зрителями в цирке были женщины. Они чаще всего поворачивали большой палец книзу, обрекая поверженного гладиатора, умолявшего о пощаде, на смерть.

Оглушительные, сотрясавшие всё вокруг, залпы танковых пушек, в комнате слышались как безобидные хлопки.

Раздавались крики:

– Врежь им, Боря.

– Получили комуняки.

И только один голос прозвучал против.

– Бабоньки, – в перерыве между залпами сказала одна женщина, – чему вы радуетесь, ведь это не кино, там живых людей убивают.

– Заткнись.



- Пасть закрой.
- Захлопни хлеборезку.
- Туда комунякам и дорога.

– Галья, Рита, – продолжала взывать женщина, – вы же в хоре в церкви поёте, как вы можете вообще это смотреть. Ладно мы, но вы-то христианки.

- Ты своего жалела, когда резала, – ответили заступнице.

Послышалась смачная оплеуха, загремели опрокинутые на пол стулья, полетела матерная брань. Хлопнула разлетевшаяся на осколки банка.

– Я тебя, падла, заколю, как сявку позорную, – рычала, сидевшая по 102-й статье Зинаида.

– У неё вилка, – хрипел полузадушенный голос. – Спасите, убивают.

- Я покажу тебе, как я его резала, ты у меня узнаешь, курва.

Вой, визг, чей-то истерический хохот, рыдания, крик, злобный мат заглушили телевизор.

- У Зойки припадок начинается, – вопил один голос.

- Машка, кончай, не быкуй, – орал другой.

– Что здесь происходит, – заглушая нервный, галдящий гам раздался громкий голос начальника отряда, женщины средних лет с белокурыми крашеными волосами, с красивыми серебряными серёжками в ушах, и с чёрным, как трупные пятна, маникюром на ногтях, в форме капитана...

Наступила тишина. Виновницы беспорядка, перемазанные, всклокоченные, со свежими царапинами и ссадинами на лицах, поднялись с пола.

– Я вас слушаю. Что случилось, что за кавардак тут устроили?

- Осужденная Николаева, – начала было первая, заступница.

– Сколько я учить вас буду, – взвилась начальник отряда. – Колхозницы неграмотные. Не осужденная, а осуждённая. Вдолбите это в ваши пустые кочаны. Осуждённая, осуждённая нужно говорить.

Доведённая до белого каления разговором с начальником колонии, отрядница, выскочила из его кабинета в коридор,



а к ней с перекошенным лицом уже бежала дневальная по отряду, – Алевтина Егоровна, – заикалась она, – в бытовой комнате драка.

Разобравшись в причинах драки, Алевтина Егоровна облегчённо вздохнула: всего -навсего повздорили одна с другой на бытовой почве. Объявив каждой по выговору, она уселась вместе со всеми дальше смотреть телевизор. При ней не было ни криков, ни рукоплесканий.

– Они-то, – сказала она, кивнув на телевизор, – понятно из-за чего дерутся, а вы-то, – она покачала головой, – две дурищи из-за какой-то ерунды.

XXIII

Все поднялись рано. Завтрак прошёл в молчании, мыслями все были в Москве. Нина Витальевна даже не сказала Животову привычную за завтраком фразу, чтобы он не брякал чайной ложкой о края чашки, размешивая сахар.

Угрюмую атмосферу нарушил телефонный звонок. Все вздрогнули, посмотрели друга на друга, и все подумали, что ждали звонка. Звонил Внуков.

– Вот дела-то какие, – после приветствия и дежурного вопроса о здоровье, сказал он.

– Да, дела первый сорт.

– Что от Петруши слышно? – пригасив голос, словно речь касалась чего-то печального спросил Внуков.

– Да что Петруша, переживаем, думаем да молимся о нём. Вчера дошёл до Покровской на Торгу церкви, молебен о здравии заказал, да с попом поговорил, чтобы он в алтаре помолился.

– Да, это дело хорошее. С религией-то полегче стало, теперь знаешь, у кого помощи просить, а то в былые годы сидишь дома, думами себя изводишь.

– Витя, – сказал Животов, не зная, как к этому отнесутся жена и дочь, может ещё будут недовольны, – я одного человек-



ка от конторы за ним послал, чтобы он уговорил его да назад привёз. Да, Пётр, знаешь какой чалдон, чего в голову вобьёт, того уж не свернёшь. Не послушался.

– Знаешь, Володя, ты меня извини, но для нашей ситуации есть хорошее изречение: если хочешь испортить дело, позвони по телефону.

– Не понял. Ты к чему это?

– Подумай. Дошурupiшь, позвони.

– Поговорил? С писателем, – с плохо скрываемым сарказмом сказала Нина Витальевна.

– Поговорил. Но почему ты так говоришь, с ядом? Писатель – неплохая профессия, во всяком случае, не хуже других

– А потому, что если что-нибудь с Петькой случится, я писателя твоего на порог не пушу.

– Ты что ? За что же такая немилость. Горький писателей назвал инженерами душ человеческих.

– Всё с писателей и началось. Наинженерили. Это, я сейчас убеждаюсь, самый вредный народ. Нет бы как нормальные люди, пришли с работы, поужинали, посмотрели телевизор, да и спать. Нет, они пишут, Люди все спят, а писатель сидит и пишет, пишет. Правду какую-то ищет. Жили мы при советской власти, не скажу, что роскошно, но надёжно, устойчиво жили. Ан нет, писатели недовольны, вспомнили коллективизацию, дескать большевики над народом издевались, стали искать правду в войне, мол, трупами немцев закидали. Да правда одна, что мы немцев одолели. Затем дедушку в Мавзолее стали теревить. Человек жизнь свою народу отдал. Лежит он в гробу и пусть лежит, никому не мешает, есть не просит, так начали его ворошить, каких-то жидов вокруг него нашли, масонов, и прочую чушь, сам чёрт ногу сломит. Но главное – зачем? Что вы революцию отмените, царя – батюшку с детками невинными из гроба поднимете? Что вам не живётся спокойно? Во всех наших бедах писаки виноваты. Молодец генерал у Грибоедова сказал: собрать все книги, да и сжечь. А сейчас. Пospорил пьяница Борька с чеченом, да отдайте вы ему всё президенту этому, пусть по-



давится, зажрётся. Так нет всю Москву, всю Россию на уши поставили.

– Слушай, мать моя, – сказал Животов с опаской, вдруг какое-то слово его не понравится и опять не миновать скандала. – Я думал, что вчера всё кончилось. Давай не будем заводить снова. Это первое. А второе. Ты, извини меня, рассуждаешь, как троглодиты из рассказа Джека Лондона. Они заметили, что один среди них чего-то пишет, и уколошили его.

– Да уж лучше быть троглодитом, чем как вы папуасами из Новой Гвинее. Приехал к ним бедный Миклухо-Маклай, ходит взад – вперёд и книжечку какую-то перед собой держит. Интересно голым папуасам, чего он всё читает. Захотелось и им узнать. Будь моя воля, я бы сказала им: живите папуасы, как живёте, ешьте друг друга, но не читайте, что писатели пишут, а то выйдет одно расстройство. Так разве папуасы меня послушают, они стойно нашего Петьки, ему хоть кол на голове теши, – на последних слогах голос бабушки дрогнул, она вынула, вложенный у запястья за край кофты платок с кружевной оборкой, приложила к глазам. – Петечка мой! Сокол мой яснокрылый! Где ты?

Животов, нервно зашагал по комнате: опять вчерашнее начинается? Он понимал, что вчерашние и нынешние слова говорит не Нина, это говорит её страдающее и болеющее за внука сердце, это нужно пережить, перетерпеть. Внезапно остановился среди комнаты, хлопнул себя ладонью по лбу и, воскликнул:

– Правильно, правильно он сказал.

– Кто? Что? – спросила Нина Витальевна

– Внуков. Писатель наш. Хочешь испортить дело, позвони. Как я сразу не догадался, надо самому ехать, а не кого-то посылать. Так, давайте, все ссоры в сторону. Поеду и привезу его.

– Ну, слава Богу, догадался. Я давно хотела сказать да боялась.

Мысль эта: поехать за Петей самому, давно сидела в голове Животова, но никак было не оставить службу. Генерал нагрузил срочной работой, приехал какой-то чин из Питера, домой он приходил только ночевать.



Владимир Степанович гнал машину как призовой гонщик на Формуле-1 и боялся только одного, чтоб ничего не сломалось. Если на такой скорости отвинтится какая гайка у колеса, он несомненно расшибётся в лепёшку, это, как говорится, к бабке не ходи. Но не жизни было жалко, а жаль, что Пете не поможет. Животов бывал в командировках в Афгане, знал, что такое плотный прицельный огонь. Там и у опытных бойцов поджилки трясутся, а что взять с мальчишки, который с детства в семье, ни каких передрыг не изведаль. А, судя по шифровке из Москвы, где приводились точные данные о соотношении сил (если людей в Белом доме можно почесть за силу), предстояла операция на уничтожение или, как писалось в войну, на ликвидацию окружённой группировки противника.

В стороне остался Грязовец, Данилов с красавцем собором на холме, и вот уже под колёсами гудит мост через Волгу. Ярославль.

На пять минут он позволил себе передышку за городом, постоял у машины, вдохнул свежего воздуха, сжевал несколько овсяных печенюшек. Таймер в часах уже запищал побудительно: в путь!

– Веселей, солдат, гляди!

Вьётся, вьётся знамя полковое, – напевал он вполголоса строевую песню, крепко держась за баранку. Вспомнилась срочная служба, и командир полка, и комбат, знамя, плывущее перед строем (как он мечтал понести его!) и разговор с подполковником, начальником политотдела полка, воевавшим в 5-й ударной армии, бравшей Берлин. После того разговора жизнь его и повернула на комитетскую стезю.

Замелькали окраины Александрова. С такими темпами скоро буду в Москве и, даст Бог, успею до времени «Ч». Но темпы выдержать не удалось, дремавший на посту и по закону подлости продравший свои глаза как раз в этот момент, гаишник направил на него лазер и махнул жезлом. Останавливаться не хотелось, зуд гонки горел в мышцах, но устраивать игру «догони, если сможешь», не входило в его планы.

– Нарушаем, гражданин, – раздирая в зевке рот так ожесточённо и глубоко, что при желании можно было обозреть все



корневые зубы и коронки на них, хрипло, обдавая Животова прогорклым перегаром, сказал сержант.

– А что такое? – спросил Животов, хотя прекрасно знал, в чём дело.

– С какой скоростью ехали? – с хрустом потянувшись, спросил раскормленный и так довольный самим собой сержант, что лицо его могло полностью охарактеризовать только одно слово – «будка».

– Нормально ехал, под сто.

Сержант сунул ему лазер, на экране мерцала цифра 160.

– Куда так торопимся? – продолжал вальяжничать похмельный блюстититель. – К подружке?

– Не хамите, молодой человек.

Больше получаса отнял у него сержант, а он опоздал всего на несколько минут.

Было ясно, что Петя в здании, но как туда попасть. На площади шла сплошная, ни на секунду не смолкавшая стрельба. Благодаря удостоверению и удаче (к нему прицепился верзила солдат, нетрезвый, неоднократно порывавшийся ударить его, лез в драку) ему удалось продвинуться максимально близко к Дому, но войти в него не было никакой возможности. Прижатый автоматным огнём к земле, он оказался рядом с молодым морпехом.

– Куда ты, отец? Убьют ведь. У них приказ – патронов не жалеть, в плен не брать.

Коротко Животов объяснил, зачем ему надо попасть в Дом.

– Держись за меня, попадём. А сперва нам надо вот в тот колодец. От него подземный ход. Как я крикну: Три, чеши со всех ног и ныряй туда. Не мешкай ни грамма, а то как раз пулю в голову найдёшь.

Нырнуть удалось благополучно. Пробираясь какими-то закоулками, протискиваясь в узких лазах, он думал с радостным чувством злорадного мщения: вам не взять наш народ. Не взять. Ума у него и сноровки столько, сколько не под силу учесть всем аналитикам Лэнгли²⁰.

²⁰ Местонахождение ЦРУ



Выпрямившись в низком глухом коридоре, заворачивавшем направо и залитым ярким электросветом, он спросил, как добраться до Руцкого. По взглядам, которыми обменялись окружавшие его ребята, он понял, что к Руцкому они относятся с прохладцей, и что попасть к нему нелегко. Это обстоятельство волновало Животова мало, он знаком был с Руцким ещё с Афгана, Александр должен помнить его.

Лифт не работал, по лестнице шли пешком. Животов слишком открыто показывался в оконных проёмах. Его предупредили:

– Проходите окна как можно скорей. Желательно рывком.

Вслед за предупреждением последовало его доказательство. Перед лицом с жужжащим свистом, почти как пчёлы, пролетели пули. Звук знакомый с Афгана. Но в здании он другой.

В Афгане Руцкой, случалось, работал под рубаху-парня, цитировал Чапаева из кино. «Я пью чай, и ты садись, пей со мной.» Было в этом что-то наигранное, ярмарочно – балаганное, но глаза Руцкого при этом горели тем неподдельным огнём товарищества, открытости, когда всему верилось и в голову приходило старое, ещё с войны: вэвээс – страна чудес.

В приёмной Руцкого толпился вооружённый народ. Прошло с полчаса, когда Животова пригласили. Помня Руцкого по Афгану, как компанейского, словоохотливого весёлого молодого офицера, он приготовился встретить его по – старому, с объятиями, улыбкой. Но натолкнулся на сухую, даже холодную официальность. Дружелюбия не было и в помине. Ну, понятно, обстановка не та, но хотя бы изобразить приветливость можно. По Булгакову, генерал был озабочен генерально-штабной думой. И изо всей силы демонстрировал это.

– Внук, говоришь, – едва дослушав Животова, сказал Руцкой, ещё неприступней нахмурил брови, покрутил ус. – Слышал, певун известный.

Руцкой набрал номер телефона, позвонил куда-то, подождал капитана с автоматом и приказал: – Отведи полковника на радиостанцию, – и повернулся спиной, не попрощавшись.



Капитан в камуфляжной форме подвёл Животова к двери кабинета и сказал:

– Заходите, это здесь.

Постучав в дверь, Животов зашёл и спросил, находившихся в комнате, не видели ли они Петра Ненашева.

– Да он где-то тут был, – сказал высокий, полный, с необъятными плечами мужчина и позвал, – Петя, ты где? Пётр.

– Только что тут крутился, – вторил ему, мужчина с седой бородой, сидевший за столом, спиной к Животову.

– А Вы кем ему будете? – спросил полный мужчина.

– Я дедушка его.

– Вон оно что, – откровенно рассматривая Животова словно экспонат в музее, сказал мужчина. – Эдик, – обратился он к своему сотоварищу, – это дедушка нашего Петра.

Из-за стола поднялся седобородый, крепкий мужчина, похожий на отставного спортсмена, чем на профессора философии, каким был Володин.

Он подошёл к Животову, подал руку: – Володин, – и сказал, оглядываясь на поминутно вздрагивавшие и дребезжащие стёкла в окнах:

– От лица командования нашей радиостанции выражаю вам благодарность за воспитание внука.

Животов чуть не ответил «Служу Советскому Союзу», восхитившись в душе самообладанием этого человека, на улице танковая канонада, а он ещё может шутить. – Погодьте, минутку, я его кликну.

Животов тихо, облегчённо вздохнул: сейчас он увидит этого... этого... этого сорвиголову, искателя приключений...

– Петроний, Петроний, – слышался голос в коридоре.

– Знаете, нет нигде, – сказал седобородый, возвратившись в комнату. – Буквально только что тут был. Вы опоздали на минуту-две. Посидите, он придёт.

– Да-а, – полный мужчина тоже подал руку Животову. – Лыкошин. Очень, чрезвычайно рад с Вами познакомиться. Вы у него с языка не сходили: дед да дед, даже мать, простите, не так часто вспоминал как вас.



– А какой внук у вас! – откликнулся Володин.
Животов выслушивал похвалы внуку, но где же он сам?
Животов вышел за дверь, громко позвал, крикнул
– Петя, Петя, Пётр.

XXIV

Дом, где жила Валя, стоял во дворе, который образовывали построенные квадратом по сторонам кварталов пятиэтажные дома из силикатного кирпича. Дом построили в начале 1970-х годов не для простого народа. Здесь жил директор завода, на котором делали цистерны для перевозки молока и устанавливали, монтировали их на шасси автомашин, секретарь райкома партии Тиховодского района, уполномоченный по делам культов при облисполкоме, хударук филармонии и прочие служащие средней руки. Мнения же о себе они были высокого и, когда дом неизбежно стала заселять публика поплоше, не занимавшая сколько-нибудь значащих должностей, старожилы дома не с каждым представителем оной публики и здоровались. Пословица из грязи да в князи в этот раз оправдывала себя. Грязь была по-прежнему густая, стародавняя, князя малокалиберные, а вот поди ж ты.

Балкон Валиной квартиры выходил в большую часть двора как раз над хоккейной коробкой, что некогда наштамповали в советские времена по всей стране. Блистательные победы хоккеистов принадлежат истории, а коробки остались. В них ребятня гоняла мяч, оглашая воздух матерщиной, немислимой при тоталитарном режиме. Валя просила отца застеклить балкон, но отец был категорически против новомодных стеклоблоков, а деревянные рамы теперь почти не производились.

В этот октябрьский день Валя смотрела телевизор. Вид стреляющих танков и бодрый голос диктора поселили в сердце тревогу. Все мысли её, конечно, были о Пете. Он там, в этом грохоте, дыму, огне. Петька, Петька, ну что ты наделал!



Накинув осеннее пальтецо, Валя вышла на балкон. Внизу было тихо, ни воплей, ни истошных криков. Она смотрела на летевшие по небу обрывки облаков, нагнувшуюся берёзу во дворе, на её беспорядочно качавшиеся ветви, на голые вицы кустов, думала о героях, страдавших в Москве под таким ветром, о Пете. И вдруг – зажурившись, она тряхнула головой – Валя увидела его. Он шёл по тротуару у дома на другом краю двора. На нём была его любимая темно-коричневая куртка с окантовкой кожаным шнуром, серая в полоску кепка. Да разве она бы не узнала или спутала его с кем-либо. Он шёл своей походкой, отмахивая, как солдаты в строю, руками.

Горло перехватило от волнения. Откашлявшись, она крикнула:

– Петя! – и лишь потом подумала, как же так: выходит, он в Тиховодске, и не позвонил, не зашёл, не дал знать. «Этого не может быть», – подумала она. – Но это происходило. Её Петя уходил из двора, даже не оглянувшись на её крик, не глянув в сторону балкона. Сейчас свернёт в прямоугольную арку под домом.

– Петя!

Она кинулась в прихожую.

– Валюша, ты куда, – попыталась остановить её мать.

– Я быстро, быстро, – Валя суетливо натягивала резиновые полусапожки.

– Петя, Петя, – с криком, рвавшимся из груди, она бежала по лестнице, вылетела во двор.

Он не мог уйти далеко. Прошла всего минута, даже меньше минуты. Мимо трансформаторной будки, она пробежала под аркой. Но где же он? Валя метнулась на автобусную остановку. Пети не было на Октябрьской ни справа, ни слева, как будто он растворился, растаял в воздухе. Она добежала до Власьевской церкви, стрельнула взглядом по Челюскинцев и Кирова, нигде не видно серой кепки. Не мог он исчезнуть так быстро, он же шёл, не бежал. Лихорадочно дыша, запыхавшись так, что глотала воздух малыми глотками, Валя домчалась до бронзового бюста Ильюшину, до танка. Петечки не было нигде.



У Вали был такой вид, что возле неё притормозил постовой милицейский газик. Старший патруля, молодой, однако уже начинавший жиреть старший сержант изготавился уцепить её за локоток, но Валя глянула на него таким безумно отрешённым взглядом, что сержант отдёрнул руку.

XXV

К 18 часам сенокос смерти, безостановочно работавший в Москве почти двенадцать часов, остановился.

Людей убивали не только в Доме Советов. У стадиона «Красная Пресня» расстреливали парней и девушек, убивали детей. Опубликовано свидетельство о смерти Кости Калинина. Возраст – 14 лет. Умер 4.10.93 г. Причина смерти – огнестрельное пулевое проникающее ранение грудной полости и живота с повреждением левого лёгкого, сердца, кишечника. По мальчику полоснули очередью.

Ушли танки, бронетранспортёры. Рокот их двигателей потерялся на улицах Москвы. В гаражах скрылись автобусы и грузовики, которыми перегораживали улицы и переулки.

Под охраной бойцов «Альфы» на улицу выводили и рассаживали по автобусам народных депутатов. В кольце депутатов, закрывших их живым щитом, вышли Хасбулатов и Руцкой, хотя Ельцин просил их убить. Жаждали убить С. Бабурина, но не вышло, он всё время был на виду, на людях, попытки к бегству незримому режиссёру поставить не удалось. Да ведь всех и не убьёшь, как бы этого ни хотелось. Задолго до Ельцина 30 апреля 1945 года это понял Гитлер.

Депутатов везли до станции метро и отпускали восвояси. Хасбулатова, Руцкого, Макашова доставили в тюрьму «Матросская тишина».

Убивали людей вовсе не прикосновенных к событиям. Вина их была только в том, что они жили поблизости человеческой бойни. Убивали снайперы тех, кто подходил к окну, кто выглядывал в окно, любопытствовать, что происходит.



А в Кремле праздновали победу. Коржаков в своих воспоминаниях пишет с обидой, что его не дождались. В Доме ещё убивали людей, лилась кровь, а в Кремле лилась водка, коньяк, виски, каждый выбирал по вкусу.

«Около 18 часов 4 октября... мы... поехали в Кремль на доклад. С удивлением я обнаружил, что торжество в честь победы началось задолго до победы и уже подходит к концу...

Нам налили до краёв по большому фужеру водки. Легко, как воду, залпом выпив, мы присоединились к общему веселью, но в душу закралась обида»²¹.

Бедные, простые зэчки в колонии. Они не знают, что в Кремле стаканами уже не пьют, там, чтобы надраться до поросычьего визга, по «культурному» используют фужеры.

5 октября в печати опубликовано письмо 42-х писателей. Впечатление было ошеломительное. Такое же, как если бы узнали, что А.С. Пушкин потребовал у царя Николая Павловича повесить всех декабристов. Декабристы по законам Российской империи были преступниками, посягнувшими на самодержавную власть. В Москве среди защитников Дома Советов не было ни одного преступника. Люди не посягали на власть, они защищали её. Их за это убили.

Огненными, кровавыми буквами горят фамилии подписавшихся в летописи русской литературы. Кто жив из подписавшихся, ещё могут покаяться, а у тех, кто мёртв, несмотря на славу, ордена, заслуги и стремительно увядший почёт (облетели листья с лавровых венков), у тех на лбу навсегда отпечатано тавро, Каинова печать. Не отмыть её, не оттереть. Впервые за историю русской интеллигенции люди добровольно, с большой охотой потребовали от правительства расправы со своими соотечественниками. А как они были про 37-й год! Как клеймили позором стадо совков, голосовавших за расстрел врагов народа. Но когда их кликнул пастух, их построили в стойле, повели на подпись и они стадом пошли, поцокивая копытцами. Никогда звание интеллигента не вызывало у трезвомыслящих

²¹ А. Коржаков Ближний круг «царя» Бориса, М. 2012, с. 155

людей особого уважения, но эти людишки опозорили, опаску-дили звание «русский интеллигент». Нынешний российский интеллигент – это подручный палача, насильника, мародёра, это тот, кто рукоплещет, когда насилуют, убивают Родину. Это о них сказал поэт «и вы не смоете всей вашей чёрной кровью».

6 октября всем командирам штурмовавших Дом частей было приказано подготовить и сдать наградные списки. Люди военные, привычные выполнять приказы, подготовят их и сдадут, но каково Ерину и Лысюку носить геройские звёзды, зная, что, невзирая на формулировки наградных листов, звёзды-то даны за убийство своих сограждан.

После 4 октября мы стали жить в истинно свободной, демократической стране. Так нас уверяли газеты и телевидения. Фашизм не прошёл. Видимо, поэтому наведение порядка, генеральную уборку бывшего Дома Советов поручили иностранным рабочим, которым до того, что здесь происходило 4 октября, горя мало. Привлечение иностранной рабсилы можно объяснить тем, что наше человеколюбивое правительство вкупе с президентом, не хотели травмировать души своих сограждан тем, что они могли увидеть там: раздавленные, сгоревшие, разорванные на куски тела российских граждан; комнаты, в которых не только полы и стены, но и потолки были залиты человеческой кровью, ибо, когда человека взрывной волной от снаряда рвёт на куски, кровь разлетается во все стороны. Заинтересованные лица не желали, посчитали вредным, чтобы российские люди увидели (и поведали другим) какими красками живописалась грандиозная фреска конституционной реформы в стране.

Невозможно описать всё, что происходило 4 октября.

Но едва ли кому-нибудь под силу передать не боль и смерч смертей, бушевавший на площади и в самом Доме, а то, что творилось после того, когда замолчали танковые пушки, крупнокалиберные пулемёты, смолкли автоматы в коридорах Дома Советов, где добивали раненых, когда онемело всё, что могло стрелять и взрываться.

Кто передаст страдания тех людей, которые вышли из Дома не под прикрытием благородных бойцов Альфа, а выбира-



лись на свободу выйдя через боковые входы, думая, что всё ужасное позади. Людей хватали и, ломая им руки, волокли в ближайшие отделения милиции. Отделения были переполнены, людей там избивали, терзали, мучили. Их мучили и пытали не ради достижения какой-то следственной, оперской истины, а именно ради муки, пытали ради пытки, чтобы сделать человеку больно, нестерпимо больно, чтобы насладиться его криком, плачем, его стонами и слезами, хрустом рёбер и челюстей. Избиение людей было поставлено на конвейер, на поток.

Здесь было торжество злобы, триумф кровавой похоти, удовлетворение инстинкта, обычно подавляемое законом. Полы в отделениях милиции были заплёваны выбитыми зубами, под ногами живодёров в погонах хрустели, размалывались в порошок очки тех, кто имел несчастье носить их. Закона не было, разрешено было всё. Под крики, вопли, стоны и слёзы, в центре русской столицы хрипел и пузырился пир упырей, вурдалаков, ликование садизма. Они не пили кровь из раскрытых ран, из порванных артерий и вен, они были пьяны от вида и запаха крови, и бутылки водки, обычно запрятанные от начальства в служебных сейфах и столах, пребывали не тронутыми.

Здесь не существовало различия мужчина ты или женщина, подросток и юноша, девочка и девушка. Здесь втапывались в кровь, в грязь человеческое достоинство, здесь происходило поругание над честью, здоровьем и красотой.

Раньше многие скрывали, таили подспудные чувства, для чего они пошли в милицию, сегодня об этом можно было говорить открыто. Шли, чтобы иметь возможность бить людей, бить и получать за это зарплату, бить и получать награды, бить и получать чины. Никто из тех, кто был забрызган, залит кровью избиваемых людей, никто не вымолвил ни слова протеста, ни словечка жалости. Напротив, кто-то до глубокой старости, да самой смерти вспоминал октябрьские дни, как лучшие дни своей службы в органах. И потом, отмывая комнаты управлений от крови, а людей избивали во всех кабинетах, кое-кто вздыхал, что быстро всё кончилось, с завистью слушая рассказы тех, кому повезло.



Один отставной полковник в Тиховодске как-то в подпитии расхвастался перед соседями на даче.

– Спасибо Ельцину, погуляли мы всласть. Цельный день комунякам морды я шлифовал. К вечеру рука устала, распухла, легко ли, голова-то у человека не мяч резиновый, костяная. Китель весь насквозь мокрый от крови был. Дорвался я, оттянулся, дорвался. Одному, который спорить вздумал, как дал, так и глаз у него наружу выскочил, – и он засмеялся.

Полковник никогда не распространялся о службе, знал, что в народе её презируют, но с устатку почал в тенёчке пятилитровый бочонок «Балтики», рассолодел на жаре, вот и потянуло пооткровенничать. Хочется ведь кому-то рассказать. Но слушатели попались неблагодарные. Три старухи, которых они и за людей-то не признавал, старые морщинистые, беззубые. Разговоры одни у них, о пенсии да о лекарствах.

Он посмотрел на них, не засмеются ли они с ним: неужели не смешно, когда у человека глаз выскочит.

Но старухи не нашли в выскочившем глазе ничего смешного, встали с лавки и побрели к своим грядам.

Одна обернулась и сказала:

– Не знала я, Матвей Захарович, что такой ты человек. Думала о тебе: как же, полковник милиции. А ты оказывается гнилой человек. И нутро у тебя всё гнилое.

Полковник, гордившийся своим здоровьем, сообщавший всем, что мать у него прожила 96 лет, а отец 94, значит, он жить будет долго, рассердился на слова о его нутре, и долго ругался (не забывая подливать в кружку пиво) и поносил старуху нецензурной бранью.

XXV

4 октября Нина Витальевна позвонила Вале:

– Валюша, приходи. Владимир Степанович за Петром уехал, вместе будем ждать.

Валя примчалась мигом.



– А привезёт он Петю? – раздеваясь в прихожей, спросила она.

– Владимир Степанович-то, – сказала Нина Витальевна. – Конечно, привезёт, не сомневайся. Он в каких только переделках не бывал. Давай накрывать на стол.

Стол застелили белой, праздничной, которую вынимали из комода в особых случаях, скатертью, расставили старинный, купленный в Ленинградском антикварном фарфоровый сервиз, в каждую чашку вложили по серебряной ложечке с гербом. Валя сбежала в магазин на Бестужевской, купила ореховый торт.

Но когда уже вечером во двор медленно вкатилась машина, и Владимир Степанович вышел из неё один, они все трое: Нина Витальевна, Светлана Владимировна и Валя заплакали горько и безудержно. Войдя в прихожую, снимая плащ, ботинки, молча плакал и Владимир Степанович. Ничего не говоря, да никто у него ничего не спрашивал, и так всё было ясно, он упал в своей комнате на диван лицом в подушку.

Валя тихо ушла домой.

С этого дня Валя не находила себе места. Приходила из школы, делала наспех уроки и шла на улицу, ей было тесно дома и слишком многое напоминало Петю. На диване они по виду смотрели оперетты «Принц студент» с Марио Ланца, «Сильву», «Принцессу цирка», смотрели оперы.

И сегодня, придя из школы, она собралась на улицу.

– Куда, доча? – спросила, вышедшая в прихожую мать.

– Никуда. Схожу, погуляю.

На собравшуюся, надевавшую осенние сапоги дочь, смотрел и Павел, с утра пораньше засевший за компьютер обрабатывать результаты летней экспедиции. Сейгод она не задалась, откопали останки пяти солдат да четыре медальона, но отчитываться надо..

– От Петра ничего нового нет? – спросил он. – От Лознгри-на твоего?

– Всё новое – хорошо забытое старое, – грустно ответила Валя.

– Значит никаких новостей, – подытожил Павел, уходя в свою комнату. – Печально.



– Ну, я пошла, – сказал Валя, – переступая порог.

– Правда, Валюша, ты куда? – Мать смотрела на неё грустными глазами.

– Просто на улицу охота, – ответила Валя.

– Не долго, а то ветер там. Слышишь какой. Не простынь.

На улице действительно было ветрено, прохладно. Валя сама не знала почему, но её тянуло на улицу. Она не могла сидеть дома. Все думы её были о Пете, а дома они угнетали, томили, точили её. Она хотела побродить по двору, поэтому накинула на себя летнее пальтецо, в котором ездила на дачу. Сразу стало холодно, но возвращаться не хотелось.

Она зашла на хоккейную площадку, на которой в ненастный день никого не было, вытоптала две мелкие лужи, через арку вышла к типографии, по Батюшкова ноги принесли её на берег. Река поразлилась, но с весенней, могучей, бурной её сравнить, конечно, нельзя. Они брали на лодочной станции у «Труда» лодку, и Петя катал её по реке. И на улице все говорило нём.

Всё, что ни попадалось на глаза, вызывало воспоминания. На восточном крыльце Успенского собора в Новогоднюю ночь он пел ей Ибн – Хакиа из «Иоланты». На здании мужской гимназии он показывал ей львов на маскаронах, о которых она, прожив в городе шестнадцать лет, и не подозревала. У церкви Зосимы и Савватия (теперь театр кукол) вспомнилось, как в самые первые дни знакомства он пошутил: не возьму замуж, пока все городские церкви знать не будешь. Со слезами припоминалось Вале, как в библиотеке дали ей книгу Лукомского и по старым, ещё царь батюшкиным фотографиям она заучивала храмы..

По Ворошилова Валя пришла на вокзал и почувствовала, что проголодалась. В вокзальном буфете взяла пластиковый стаканчик кофе с творожным сочным и неожиданно попала в приключение.

Вокзальные милиционеры заметили появившуюся на вокзале девушку в дешёвеньком, не по погоде пальто. Сама по себе видная, полная, в теле но, вероятно, заблудящая, если не



сказать хуже. Что будет делать порядочная девушка в такой дерюге на вокзале? – привычно рассуждали они. Хахаля ка-дрит. Видать, неопытная, новенькая, порядков не знает. Надо её разъяснить.

– Едем куда? Провожаем кого? – спросил подошедший к Вале старший наряда, сержант.

– Нет, просто так хожу.

«Ага, – сказал про себя сержант, – внимательно посмотрев на Валю, – деваха в соку».

– Документики глянуть?

– У меня их нет. Я не ношу их с собой, – ответила Валя с неприятным чувством: чего ему от меня надо?

«Что и требовалось доказать», – подумал милиционер.

– Пройдёмте.

В вокзальной дежурной части, состоявшей из двух комнат, Вале задавали вопросы: где живёт, где учится. Валя спокойно отвечала на них. Это спокойствие, невозмутимость смущали милиционеров, ставили их в тупик. Так обычно ведут себя оторвы, которым встречаться с ментами – дело привычное. Но эта девушка не была похожа на прожжённых, она была вся чистая, юная. Взгляд у неё был ясный, наивный, доверчивый.

«Придётся, видать, в опорный пункт её волоочь», – подумал сержант с вожделением.

Вале здесь стало невмоготу. Надо отсюда вырваться. Во второй комнате дежурной части, отделявшейся от основной комнаты дверью из сваренных арматурных прутьев, был заперт какой-то обросший, грязный человек, выкрикивавший матюги. Иногда к нему заходил милиционер, бил его, он замолкал, а потом начинал снова. Милиционер после этого мыл руки над раковиной. Валя посмотрела искоса, вода с рук текла красная.

Если она побежит, дверь рядом, тогда её схватят. Сама мысль, что эти двое с их липкими, словно ошупывающими её взглядами, станут хватать её, была противна.

– Вы отпустите меня, – робко попросила она.



Милиционеры посмотрели на неё, как на девочку-школьницу, сморозившую глупость.

– Куда ж мы вас отпустим, если не знаем вашего адреса?

– Я сказала вам, – возразила Валя.

– А если вы сказали неправду?

– Зачем же я буду говорить вам неправду.

– Люди разные бывают. Мы сделали запрос, когда получим подтверждение, тогда отпустим, – сказал сержант, хотя и не думал делать никакого запроса. Он убедил себя, что это девушка-побродяжка и не хотел упустить свой шанс.

Валя утаила от них номер домашнего телефона. Вдруг они позвонят, что станет с мамой. Дочка в милиции.

Петя как-то посоветовал: если с тобой что-нибудь случится, называй моего деда.

И Валя решилась. Эффект был поразительный. Как в мультфильме злые гномы мгновенно становятся добрыми, так получилось и здесь. Вале даже стало жалко их.

– Если вы меня не выпустите, я пожалуйу дедушке.

– И кто же ваш грозный дедушка? – с ленивой улыбкой спросил сержант.

– Полковник Животов Владимир Степанович. Он работает в КГБ.

Фамилия Владимира Степановича, курировавшего органы правопорядка была хорошо известна в УВД.

Валя по молодости лет, ещё не изведавшая людской низости и подлости, поразилась, как оба хама, только услышав фамилию, не требуя никаких доказательств, мгновенно преобразились в галантных кавалеров.

– Простите, извините, произошла ошибка, – такие и другие слова слетали с языка. – Хотите, мы вас проводим, а то кто-нибудь обидит.

– Нет, нет, я сама, – отказалась Валя, желая как можно скорей покинуть смрадные комнаты.

– А почему на вас такое пальто, – не выдержал и спросил сержант, уже приученный смотреть прежде всего на одежду.



– Пальто как пальто, – как можно спокойней ответила она, прошла несколько шагов и припустила бегом.

Валя, запыхавшись, вбежала на мост, испокон века называвшийся Горбатым. После капитального ремонта городским властям показалось некультурным его старое название, и мост назвали в честь 835-летия города. Были мосты в честь 800-летия и 830-летия. Способные в деле уничтожения старого города, где не требуется ни ума, ни таланта, в остальном власти соответствовали фавориту из анекдота о Екатерине II. (Усердия много, а фантазии никакой.)

Облокотясь на перила Валя слышала, как под мост грохоча на стыках колёсами и тормозами влетали стальные товарные составы, плавно вкатывались пассажирские поезда, а в небе над кафедральным собором разворачивалась грандиозная битва.

На небе редкое для осеннего времени года воздвиглось громадное, наверно, километровой высоты сугробно – белое облако. Оно стояло над самым кафедральным собором, почти над крестом, «как откровенье неземное», как могучее, неприступное крепостное укрепление. Стояло торжественно и величаво. Зодчий изваял его из сияющей белизны и на незримых цепях утвердил в небе.

Западным ветром приволокло небольшое облачко, которое начало пухнуть, расти, затягивать, заливать чернильной густотой белую башню.

Думалось, что это не обыденное явление природы, когда ветер дует и облака хаотично принимают самые различные очертания, то громоздятся горами, то тают и обращаются в бесформенные ватные кучи.

Чёрное облако перемещалось не произвольным движением воздушных потоков, а словно действовало по чьей-то воле.

В белом облаке образовались два просвета, как глаза, каждый, наверно, с футбольное поле. Сквозь эти глаза лучисто синело далёкое небо.

Захваченная созерцанием небесной картины, скользя рукой по железным перилам, Валя сошла к кафедральному со-



бору, но не зашла в него, чего-то стало боязно, а ну налетят старухи в чёрных платках, заругаются, закричат: ты чего пришла, мерзавка, креститься не умеешь, и платка на голове нет.

А, есть. Валя сунула руку в карман, вытащила летнюю газовую косынку (Петин подарок), повязала её на голову.

– Валюша, здравствуй, – услышала она удивлённо-радостный голос.

Это женщина из их дома. Живёт в соседнем подъезде. Валя встречалась с ней во дворе, здоровалась, но не думала, что женщина знает её имя.

– Валюша, – подойдя к ней и взяв её под руку («Как же её зовут, я не знаю. Спросить неудобно.») ласково говорила женщина. – На кого ты похожа? У тебя же губы совсем синие, а ты так легко одета. Пойдём, тебя срочно надо согреть.

Она повела Валю к двухэтажному кирпичному дому рядом с собором.

На втором этаже дома в столовой Валя почувствовала, что, наблюдая за ходом небесного поединка, она и в самом деле продрогла. Ей налили обжигающе горячего чая. Женщина (из разговоров она узнала – Варвара Сергеевна) придвинула берестяную плетёнку с печеньем и сухарями. Валя недавно пила на вокзале кофе, но от чая не отказалась, так противно было воспоминание о милиционерах, что хотелось скорее забыть о них. В столовой под взглядами святых с икон, среди детских рисунков на стенах, в самой атмосфере, окружавшей её, она забывала усталость и пронизывающий ветер, похотливые взгляды милиционеров, и, кажется, даже о Пете не думала.

– Согрелась? – спросила Варвара Сергеевна, поставила Валялин стакан под самовар. – Ещё?

– Если можно.

– Да хоть сколько хочешь.

На подоконнике лежала тоненькая брошюрка «В путь вся земля». Валя полистала её.

На широкой в полстены стенгазете много фотокарточек. Фото настоятеля собора, архиерея, дети декламируют стихи, водят хоровод у ёлки, собирают цветы на лугу, вяют венки и



бегают в них. Ей было хорошо, тепло и светло тут. Не хотелось уходить, но дома её ждут.

Чёрная туча всё же одолела облако. Но не всё. На самом краю горизонта виделся белый, не сдавшийся, не уступивший мгле белый лоскуток. Он продолжал жить.

В церковной книжке было написано, что душа человеческая по исходе из тела три дня пребывает на земле, посещая дорогие ей места.

Теперь Валя была уверена. Это было не видение, когда она видела Петю с балкона. Это Петина душа навестила её. Перед тем, как предстать ко Господу, Петя не мог не проститься с нею.

Но почему он не откликнулся, почему не посмотрел в её сторону?

XXVII

По воскресеньям семья Животова и Валя шли в кафедральный собор, ставили свечку на столик перед Распятием, долго стояли в скорбном молчании, слушая, как священник и певчие служат панихиду. После пения «Вечной памяти» и «Души их во благих водворятся», шли домой, молча пили чай. О Пете говорить боялись. Боль от утраты была ещё так свежа и тяжка, что любой разговор о нём неизбежно бы вызвал плач, и вызов «скорой»: Нине Витальевне делалось плохо с сердцем.

В одно из воскресений, когда Владимир Степанович ставил свечку, его ожгло как пламенем свечи: он же не видел Петю мёртвым, и никто не сказал ему, что видел. Возможно, Петя жив, но в той сумятице, какая творилась в Москве, он элементарно не мог дать знать о себе. Может, он где-то скрывается, может быть, заключён в тюрьму, в колонию, может, тяжело ранен, лечится, а фамилию свою открыть не хочет, может, да, господи, думай что угодно, всего не передумаешь. Владимир Степанович быстро снял свечу с кануна, задул её. Нина Витальевна и Светлана с Валею вопросительно посмотрели на него.

На улице, выйдя из собора, он сказал им:



– Может, он жив, а мы его, как покойника, поминаем.

Из церкви впервые шли в приподнятом, оптимистическом настроении. Слова Владимира Степановича по первоначально обрадовали всех, появилась надежда. Но со временем надежда превратилась в муку. Ведь это сущая мука каждый день и особенно ночь ждать, что он придёт, позвонит в дверь или по телефону. На каждый телефонный звонок бежали со всех ног. Только послышится, почудится какой-то шум у дверей со всех ног бежали отворять дверь, но за дверью – никого.

Этой муке ожидания пришёл конец там, где никто не думал.

Владимир Степанович пристрастился к зимней рыбалке. После исчезновения Пети что-то опустело в квартире. Придя со службы, он ходил, как маятник, из угла в угол. В выходные дни бродил по городу. Из жизни оказалась вынута главная деталь, без которой жизнь превратилась в отбывание времени. Он чуть не запил с тоски, но остановился и помог в этом Внуков. И в церкви не находил он утешения, слова скользили по душе, не застревая, не останавливаясь в ней. Подобное состояние души переживал, судя по записям современников, писатель Шмелёв, узнавший о расстреле сына Сергея.

Владимир Степанович записался в давно существовавший при управлении клуб «Мороженный судак», закупил рыбацкой научно – популярной литературы, удочек, нашёл себе наставника, начальника оперативного отдела. Подготовился теоретически так, что мог дать бой профессионалу-ихтиологу. С практикой получалось похуже, но Животов не сетовал. В жизни появилось увлечение, хоть ненадолго дававшее отдых от воспоминаний и дум.

После Нового года на озеро отправилась «сборная Союза», так один из остряков назвал совместную компанию сотрудников комитета и областного УВД.

К озеру на машине было не подъехать. Километра полтора с ледобурами и «шарманками» шли дружной гурьбой, на ходу травя анекдоты. День был на загляденье, с лёгким морозцем, свежий, крепкий, как только что снятый с грядки огурец. На



рыбалке, как в парилке, субординация отменяется, не было ни лейтенантов, ни полковников, были Вани и Коли, а тех, кто в годах, именовали по имени – отчеству.

Насверлили лунки и сели ловить. У Виктора Степановича запуталась лёска. Чем её распутывать, легче отрезать. Владимир Степанович привычно сунул руку в правый карман, где в рыбацкой куртке лежал складной нож, но сегодня, уступая настояниям жены, он надел полушубок.

– Потеплей будет, – говорила Нина Витальевна, сама застёгивая крупные пуговицы полушубка...

– Сосед, Николай, – крикнул Животов майору из УВД, – нож не под рукой, одолжи на минутку.

– Лови! – отозвался майор, бросая нож.

Животов словил его и обомлел.

Только профессиональная выучка позволила удержать возглас. Это был нож Пети. Имя «Петя» счищено шкуркой, но при боковом взгляде оно видно. И разве он не узнает вещь, которую сам делал?

Долго держать нож было нельзя. Животов встал с «шарманки», подошёл к соседу, подал нож, и поинтересовался:

– Хорошая вещица, купил где?

– Такие не продаются, – зыркнув на Животова оценивающим взглядом, ответил майор. – Приятель отдал.

Какая тут рыбалка! В голову хлынул водопад мыслей. Всё нужно проверить. Может, майор, в те дни не был в Москве, а ты подозреваешь человека. Но как объяснить немыслимое? Как могла вещь человека из Тиховодска попасть к милиционеру из Москвы. Внук мог просто потерять нож, а он его подобрал. Ему мог действительно отдать его кто-то другой. Владимира Степановича подмывало сейчас же подойти и спросить этого майора. Но спешкой всё только испортишь. Он продумывал в голове разные варианты, как нож мог попасть к майору, но опровергая их, какое-то чувство говорило ему, что майор – убийца. С годами у любого человека, с любовью и охотой занимающимся своим делом, вырабатывается чутьё, интуиция. Он знал из практики, когда факты обвиняют человека, а



интуиция настаивает на ошибочности выводов и в конечном итоге она оказывается права.

До вечера нужно сидеть у лунки, изображая рыболова. У соседа не должно возникнуть и крупинки подозрения. Владимир Степанович прочитал его взгляд от лунки. Это было ещё одним, правда, косвенным доказательством, что интуиция его не обманывает. Таким взглядом не смотрят, если вещь твоя и тебе нечего за неё беспокоиться. Обычно люди смотрят друг на друга, не понимая, что говорят их взгляды. А взгляд может сказать чрезвычайно многое. В академии он прослушал и на отлично сдал зачёт по спецкурсу «Язык человеческого взгляда».

Хотелось вскочить, подбежать, сшибить его с «шарманки», бить, топтать ногами, кричать: «Говори, сознавайся, стерва, что ты сделал с моим, с нашим Петей!»

Когда они возвращались в город, никто бы не подумал, что у весёлого, смеющегося полковника поднимался девятый вал злобы, едва он взглянет на милицейского майора, наловившего сегодня больше всех и самодовольно чувствовавшего себя победителем.

В понедельник на утреннем совещании у генерала Внуков доложил о положении дел на своём участке работы и на вопрос генерала как порыбачилось, признался, что ничего не поймал.

– Это плохо, – констатировал генерал. – Уронили вы честь управления, Владимир Степанович.

– Как сказать, вот Прохоров, например, вытащил леща на полтора килограмма и получил первый приз.

– Молодец Прохоров. И какой был приз?

– Призы на зимней рыбалке известные. Трёхлитровая бутылка виски.

– Владимир Степанович, – уже не шутливо спросил генерал, – что с внуком Вашим, с Петей?

– По-старому, – ответил он.

– Никаких просветов?

– Нет, сплошная облачность. Полный мрак.

– Будем надеяться. Если что, обращайся сразу ко мне. Помогу.



Животов хотел сказать про нож, но нет, абсолютная секретность, должна быть величайшая конспиративность.

– Будем надеяться. Как пелось в советской песне: Надо только выучиться ждать.

Собственное расследование, проведённое Животовым, убеждало: майор вполне мог быть убийцей Пети. Он был в те дни в командировке в Москве, сведения, собранные отделом собственной безопасности, свидетельствовали, что человек он грубый, наглый, корыстолюбивый. В его личном деле были два выговора за превышение должностных полномочий. С недавних пор все сотрудники УВД проходили проверку на полиграфе. Сведения были секретными, но знакомый компьютерщик, молодой парень проник в секретный файл, прочитал характеристику майора: скрытен, лжив, злобен. Чтобы сбить с толку тех, кто обнаружит проникновение в файл, Животов просмотрел ещё с полсотни характеристик. Характеристика «лжив и злобен», встречалась в девяноста процентов.

Майор и лично был неприятен Животову. Разговаривая, он никогда не смотрел собеседнику в глаза, а на вторую пуговицу на его рубашке.

Однако косвенных доказательств было недостаточно, а прямые улики отсутствовали. Нож не улика. Нужен был, как писал смершевец Богомолов, момент истины. Но то было на фронте. Да, хорошо бы похитить майора, завезти в лес, поставить босого на муравейник и допросить с пристрастием. Но это гладко проходит только в кино. Оставалось смириться, жить и знать, что убийца Петечки живёт рядом с тобой в городе, дышит одним с тобой воздухом и зычно хохочет на всю озёрную округу, вытащив хорошую сорожину.

В воскресенье, как обычно, они пришли в кафедральный собор. Животов подошёл к кануну, зажёл и поставил большую свечу.

– Но ты же сам говорил, – сказала Нина Витальевна.

– Петечка не придёт к нам, – сказал Владимир Степанович и, будучи не в силах удержать скопившиеся и жгущие душу



слёзы, чтобы не зарыдать при всех, быстро пошёл, почти выбежал из собора.

На рельсах кричали гудки тепловозов, ветер гнул голые ветви ив. Подошли Нина Витальевна, Светлана. Над Тиховодском в ореоле вставало солнце, предвещая морозную зиму.

– Наша русская кровь на морозе горит, – вспомнилась строчка Никитина, стихотворение которого с выражением, старательно читал на утреннике в детском саду Петя, а он смотрел на внука и чувствовал, как слёзы счастья блещут у него на глазах.

– Наша русская кровь, наша русская кровь, – припоминая интонацию с какой читал Петя, повторял и повторял про себя Животов строчку, поднимаясь на Горбатый мост.

Уже у дома, долго крепившаяся Нина Витальевна спросила:

– Может, хватит нервы из нас тянуть. Мы же живые люди. Может, скажешь, от кого ты узнал, что Петруши нет. Что, опять – секрет? Когда же мы с тобой нормальной жизнью жить будем, без секретов?

Животов сжал ладонями руку жены, привлёк себе.

– Ниночка, не сердись. Пока сказать не могу. Потерпи, скажу немного попозже.

Нина Витальевна и Светлана молчали. Это «попозже» могло длиться и год, и два.

XXVIII

Вернувшись из собора, Владимир Степанович подремал, попереключал каналы в телевизоре, быстро оделся.

– Куда? – спросила Нина Витальевна.

– До киоска «Союзпечати» добегу.

– Ты ж газет не читаешь. Хвастался по телефону генералу. Говорил, что после четвёртого в руки их брать не хочешь.

– Посмотрю, чем мир спорта живёт.

Животов вышел из подъезда, зашёл за угол, постоял там минут 10 и бегом перебежал в соседний подъезд.



Нина Витальевна, обвинив во всех бедах писателей, не звонила Внукову, не говорила о нём и, когда Животов завёл разговор о чаепитии у них, сухо поджала губы.

– Что я там, у твоих Внуковых забыла? Иди, если хочешь, не держу, а я не пойду.

Поэтому Животов с такими предосторожностями пробирался к соседу.

Внуков грипповал. Лежал в кабинете на диване, укрытый до подбородка теплым, шерстяным шотландской расцветки одеялом. На торшерном столике со столешницей – шахматной доской, кувшин с морсом.

– Привет, – сказал Внуков, высунув из-под одеяла руку. – Как живёшь? Чего не заходишь?

– Дела всё, дела. Давно болеешь?

– Третью неделю, скоро встану. О Петре что-нибудь есть? Животов придвинул стул к самому дивану

– Не надо, не надо, – запротестовал Внуков. – Заразишься.

Но Животов подвинулся ещё ближе, вплотную и тихим голосом, поглядывая на дверь, откуда могла появиться Анна Григорьевна, почти шёпотом рассказал Внукову о своём страшном открытии.

– Вот так, Витя, а что мне делать и сам не знаю. Не убивать же его. Кем я после этого буду.

Внуков возбуждённо сел на диване.

– Приоткрой, Володя, форточку, я курну, хоть Анна меня потом съест. Но такая новость. Нашего Петеньку, какой-то поганый, вонючий мент. – Внуков вытащил откуда-то смятую пачку сигарет, затянулся. – Да убить-то его надо, и не просто убить, а как они пишут, с особой жестокостью, да как это сделать. Ведь попухнешь, срок дадут.

– Витя, да не в этом дело, чтобы убить. Убить это ерунда. Контора убивала, убивает и убивать будет так, что комар носу не подточит. Но эту гниду надо судить, и по суду казнить. Это не моя обида, не моё частное горе, это забота государства, чтобы менты не смели убивать наших внуков, наших Петь.

– Ишь ты, чего захотел. Этого не будет.



– То-то и оно. Стою я в соборе и только об этом думаю. И понимаю, что жить с этим придётся.

– Вова, давай я ему рожу разобью. Покажи мне его.

Животов покрутил пальцем у виска.

– Он моложе тебя на двадцать лет.

– В драке это не имеет значения.

– Как это не имеет?

– А так. Скажи себе: я тебе за Петьку сделаю, и бейся с ним. Ну надо же за Петьку хоть что-нибудь ему сделать.

В комнату вошла рассерженная Анна Григорьевна.

– Витя, ты что себе позволяешь? Врач же запретил тебе курить. Хотя на время болезни брось ты свою соску.

– Закуришь тут, – сказал Внуков. – Володя о Пете всё узнал.

– Не всё, – возразил Животов.

Анна Григорьевна, выслушав рассказ Животова, со слезами на глазах, вышла из комнаты.

– Вешать их надо. – сказала она, приостановившись в дверях.

– На Красной площади, принародно. А ты, Внуков, не кури, берись за ум, пожалей своё здоровье. Твоя жизнь не мне одной нужна.

– Володя, – когда Животов уходил, попросил Внуков, – пойдёшь в собор, меня возьми. Надо сходить, а то не бывал я.

Нина Витальевна встретила мужа в прихожей.

– Что-то долгонько, – сказала она, помогая мужу снять куртку.

– А куда торопиться. Пока туда, пока сюда, – неуклюже врал Животов.

– Пока к другу Внукову зашёл, пока посидел у него.

– Ты откуда знаешь? – Животов и рот открыл.

– Поживи с тобой, не тому научишься. Табаком от тебя пахнет. Надо не свитер было надевать, в нём табак задерживается, а пиджак.

– Ну, мать, тебе экзамены выпускные в академии надо сдавать.

– А вы думаете одни такие умные, разведчики. Жену обвести вокруг пальца не можете, стареете, теряете квалификацию. Ну что, друг твой?



– Болеет. Грипп у него.

В ближайшее воскресенье все вышли со двора.

Впереди, взявшись под ручку, шли Анна Григорьевна, Нина Витальевна и Светлана. Внуков и Животов шагали позади. На перекрёстке Октябрьской и Пятницкой их ждала Валя.

Спускаясь по лестнице с Горбатого моста, они поравнялись с Петряевым, Липовицким и Ширковым.

– О, весь наш колхоз «Заветы Вождя» в сборе. Здорово, здорово, – пожимал Внуков руки друзьям, – какими судьбами в храм Божий?

Липовицкий шёл помянуть бабушку, вырастившую его, а Петряев с Ширковым с ним за компанию.

– И я за компанию, – сказал Внуков, – тоже бабушку помяну, ведь у меня и фамилия такая.

В храме заканчивалась обедня. Служил Владыка. Прозвучал отпуст, проповедь, наступил черёд целования креста. Писатели, Животов и женщины дружной кучкой подвигались в густой массе богомольцев. Животов осмелился и сказал, поцеловав крест:

– Ваше Высокопреосвященство, помолитесь об упокоении души Петра.

– Он кто вам? – не переставая приближать крест к губам людей, целующих его, спросил Владыка.

– Внук.

Что-то мелькнуло в глазах Владыки, он наклонился ниже, шепнул:

– В Москве погиб? В октябре?

– Да.

– Помолюсь. Каждый день поминать буду.

Увидев Ширкова, Владыка приветственно кивнул ему головой.

Выйдя после панихиды из собора, стали прощаться, всем нужно было в разные стороны.

– Всё-таки как красив церковно-славянский язык, – сказал Александр Петряев. – Вслушайтесь, какая поэзия. Вижу во гро-



бех лежащую нашу красоту, безобразну, бесславну, не имущую вида. Как мало слов, и как много сказано ими.

– Ну, Санко наш опять о поэзии, – улыбнулся Внуков и серьёзно добавил, – Друзья мои, если вы не против, прошу сегодня...

– Сегодня? – воскликнула Анна Григорьевна. – Да ты спятил, у меня ж ничего нет.

– Сам картошку и лук буду чистить и в магазин побегу, – сжато говорил Внуков. – Одним словом, надо всё сделать полюдски. Надо поминки справить и по Петру, и по всем остальным, не на поле брани, но всё равно за Россию убиенным. Так что в шесть вечера жду вас всех.

Эпилог

Так закончилась трёхлетняя эпопея сокрушения Советской державы. Война со страной Советов началась и не прекращалась с 1917 года. Враг делал небольшие перерывы, когда нуждался в советской помощи (годы войны), а в остальное время – война без передышки, без роздыха, зимой и летом, днём и ночью. С государством, где власть принадлежала не деньгам, а народу и истории, шла война не на жизнь, а на смерть. С Советским Союзом воевала не одна Америка, а весь западный капиталистический мир. Кто бы выдержал такую войну? Но ведущая роль принадлежала Америке. Ещё не успела забыться война горячая, как началась война холодная, десятки агентов забрасывались к нам, засылались воздушные шары-шпионы; провокации, пакости на границе исчисляются тысячами. Прославленный, но ныне, к стыду нашему, забытый у себя на Родине полковник-пограничник Н. Карацупа задержал – более трёх с половиной сотен нарушителей, из них 129 уничтожил в смертельных огневых поединках. Мы не знаем этого героя-супермена, тогда как по телевидению демонстрируют фильм с Рэмбо, шутя расправляющегося с советскими разведчиками. Попался бы он Карацупе с его верной собакой Ингусом...

Когда задают вопрос об истоках случившегося в октябре 1993 года в Москве, ответ дают простой и самый лёгкий: поссорились Ельцин с Хасбулатовым, Ельцину захотелось быть единоличным хозяином в стране. Но когда мы рассматриваем результаты происшедших событий, когда видим, что потеряло государство и во что превратилось оно, мы вынуждены признать, что надо говорить не о ссоре, не о хозяйственных



потугах, истоки катастрофы надо искать более тщательно, ибо лежат они глубже.

В 1956 году прошло три года со смерти Сталина. Состоявшие с ним в партии люди делили его наследство-власть. Обманом был завлечён в ловушку Л. П. Берия и убит. У кормила государства встал Никита Хрущёв.

В Политбюро он одержал верх. Необходимо теперь было завоевать доверие народа. Но как это сделать? Ни военных побед, ни крупных государственных дел за ним не числилось.

И Хрущёв решился завоевать авторитет у народа за счёт своего предшественника. Шаг был рискованный, народ любил Сталина, как отца.

Хрущёв сделал ставку на то, что история советского государства не была должным образом осмыслена, понята и изложена. Не было года спокойной жизни, когда можно было отстраниться от злободневных дел и попытаться изложить историю советского государства. Некоторые её довоенные страницы кровоточили до сих пор. Одной из таких страниц была внутрипартийная борьба конца тридцатых лет, которая не была изложена документально, питалась слухами, легендами. Народ не может полноценно жить и идти вперёд, не зная своей истории.

У советского государства были свои ошибки, просчёты, были жертвы, но не было злонамеренного преступления. Когда Ельцин мальчишкой лез на склад, что это было? Ребяческая шалость. А с точки зрения устава караульной службы это было преступление, карой за которое была пуля часового.

Если бы Хрущёв признался в ошибках, не только Сталина, но и в своих (а их было немало), то разве бы народ не понял, не простил бы его. Если бы Хрущёв заверил всех в желании жить честно, по правде, народ бы и его полюбил. Но в душе его не было правды, не было чести, только «Я». «Я» во всех видах и формах, под любым соусом. На головы делегатов XX партийного съезда было вылитое адское варево злобы и ненависти к советской стране, на головы тех, кто созидал Союз, кто отстоял его в боях с мировым фашизмом, на всех, кто бо-



ролся и страдал в фашистских застенках, кто томился в концлагерях, кому отрубили голову на гильотине в тюрьме Плетценезее²².

Сейчас доклад Хрущёва разобран исследователями по словечку, по косточкам, раздёрган на ниточки, неопровержимо доказано – доклад лжив изначально. Даже там, где докладчику лгать было не нужно, он всё равно лжёт. Не доклад ли Хрущёва брал за образец Солженицын, когда стряпал замешанный на лжи «Архипелаг Гулаг»?

Эффект от доклада Хрущёва был умопомрачительный, внутри советского народа пролегла трещина, был нанесён непоправимый удар международному рабочему движению, газета французских коммунистов «Юманите» с миллионным тиражом (не получая ни сантима господдержки), потеряла сотни тысяч своих читателей, люди не верили ей. Мощные коммунистические партии во Франции и Италии превратились в клубы по интересам, а были политической силой.

Хрущёв погасил маяки, погасил судьбы миллионов людей.

Когда маршал Д. Устинов говорил о Хрущёве, что он принёс СССР больше вреда, чем Гитлер, он имел и это в виду.

Песня, которую ещё пели в стране, потеряла свою силу.

Горите ярче, маяки!
Людских сердец живое пламя.
Всегда и всюду с нами впереди
Вы – наша честь и наше знамя!

Первый удар, от которого советское государство так и не оправилось, был произведён главой этого государства. После этого, десятилетия спустя, легко было запустить в обращение слова о том, что социализм проиграл в соревновании с капитализмом.

²² Плетценезее - тюрьма в Берлине, где приводились в исполнение смертные приговоры. Там встретил смерть Х. Шульце-Бойзен, его жена Либертас и другие руководители «Красной капеллы.»



Наступили Брежневские десятилетия относительного покоя. Был взят ошибочный курс на мирное сосуществование. С нами воевали, вели войну на уничтожение, на истребление, а мы говорили: давайте мирно сосуществовать. Американцы говорили: «Давайте», а сами посылали «Боинг» в наше воздушное пространство с разведывательными целями. Страна была втянута в бессмысленную гонку вооружений. Учёные доказали, что победителя в ядерной войне не будет. Зачем было накапливать ракеты, если уже имеющимися можно было пять раз уничтожить всё живое на Земле. Надо было остановиться. Пусть Америка вооружается, нам достаточно уничтожить её только один раз.

Зная, что военным путём СССР не победить, экономически он тоже неуязвим, расчёт сделали на низменном. Население СССР составляло несколько процентов от мирового, поэтому вполне естественно, что Союз не мог быть первым во всём. В чём-то страна неизбежно была не на передовых позициях. Один из наших видных писателей вернулся из поездки за границу и говорил, что его потрясло (!) изобилие в магазинах, он увидел там 15 сортов мороженого.

– Почему я не могу купить своей внучке 15 сортов? Ну что у нас за страна такая?

Таким властителям дум внимали тысячи людей, не подумав, что слова его преподлейшая демагогия. Неумно судить о стране по наличию или отсутствию в ней мороженого, невозможно купить и есть сразу все 15 сортов. Но такие, и не только такие, разговоры точили, разъедали душу обывателя, а в современном индустриализованном обществе не герои, а обыватели решают судьбу общества и свою собственную судьбу.

Советский Союз по производству бананов значительно уступал любой из банановых республик Центральной Америки, но это не повод упрекать его в отсталости.

Умершего Л. Брежнева сменил фанфарон М. Горбачёв. Не думается, что А. Громыко и другие, рьяно проталкивавшие Горбачёва, были участниками какого-то международного заговора (хотя полностью отрицать этого нельзя), просто Горба-



чѐв обманул их, они поверили, что он, молодой, напористый, говорливый, сумеет обновить государство, поставит советский локомотив на новые рельсы.

Но за говорливостью, за желанием всем понравиться, ничего не стояло. Не было продуманных и твёрдо проводимых в жизнь дел. Работал словесный фонтан. Но он ничего не производил. Государственный механизм, запущенный на холостых оборотах, потреблял народную энергию, но работал вразнос. Начали трещать вековые скрепы, прочно державшие единое государство.

Распад социалистического содружества повлёк за собой распад и обнищание бывших социалистических стран. Румыния – красавица, любимая дочь Дуная, страна гордых Буребисты, Децебала, на равных сражавшихся с Римом, страна несломленного Н. Чаушеску, из страны с процветавшей экономикой превратилась в страну – нищенку, побирушку, где стоят заводы, а дети её, красивые румынские девушки, пополняют европейские бордели и восточные гаремы. Страна, не имевшая ни цента государственного долга, намертво опутана займами.

Содружество распалось не само. Только в природе всё совершается само собой, повинаясь «Тому, кто звёздам кругоходный торжественно наметил путь». В мире людей всё делается людскими руками. Социалистический лагерь разрушили Горбачѐв с Политбюро. Кто отдал Горбачёву такой приказ, можно только гадать. Но приказ он выполнил. Все были преданы, Ярузельский и Хонеккер были унижены, а Чаушеску убит.

После крушения социалистического содружества пришѐл черѐд флагмана, путеводного маяка, светившего всему человечеству. Посеяв в стране хаос, сумятицу в умах, в экономике, в науке, в армии, в КГБ и МВД, Горбачѐв в связке с Ельциным нанѐс первый удар – сконструировал и запустил в дело ГКЧП. Коммунистическая партия Союза была отторгнута от власти.

После 1991-го закономерно последовал 1993-й.

После событий 4 октября многие защитники Дома Советов, опасаясь арестов и преследования, скрывались, пря-



тались. Кто уезжал в отдалённые, глухие деревни к родственникам, друзьям, знакомым друзей, иные с помощью доверенных врачей под вымышленными фамилиями и фальшивыми диагнозами ложились в больницы. Переждать, пересидеть, перележать где-нибудь в тихом уголке это накалённое время.

Предоставляли надёжное убежище и Лыкошину.

– Я Родине не изменял, – сказал Сергей, – в Америку, в Израиль, ни в какое другое иностранное государство уезжать не собираюсь, я помню слова императора Николая Павловича, считавшего человека, покинувшего Россию, изменником, предателем или по-советски врагом народа. Мне скрываться нет резона. Я понимаю, что уголовную статью можно приискать к кому угодно, хоть к грудному младенцу. Пусть ищут. Я жил, как жили мои предки, живу и жить буду.

Этот разговор состоялся в Союзе писателей на Комсомольском проспекте, в кабинете С. Лыкошина.

– Что ты можешь предъявить грудному младенцу? Какие обвинения? – спросил, улыбнувшись, Володин.

Лыкошин коротко хохотнул:

– Да целую кучу.

– За это, за кучу статьи нет.

– Ночью не спит, кричит, плачет – нарушает общественный порядок.

– Пятнадцать суток, самое большое, ты что-нибудь существенней предъяви.

– Не даёт родителям спать, посягает на их конституционное право на отдых. Это не сутками пахнет.

– Да, от ребёнка не сутками пахнет. А я, знаешь, о чём думаю. О Петре нашем. Неужели его убили?

– Будем надеяться на лучшее.

– Я думаю, надежды нет. Если б он уцелел, дал бы знать. Всё же как странно он пропал. Вышел и исчез. Дезертировать не мог. Не тот это парень. Смотрел я на него и лишний раз убеждался: был, был советский народ. Это не выдумка лысых, гунявых лекторов из обкомовских отделов пропаганды. Мне



попал как-то в руки старый «Огонёк». До нынешнего я и не до-трагиваюсь. А тут смотрю: на обложке два мальчугана. Такие два упитанных здоровяка, такие две ядрёные мордуленции, года по три-четыре. Так они смотрят на друг на дружку и так смеются, что сразу видно, не нынешние это, советские. Стал смотреть, в каком году карточка седлана. В пятьдесят четвёр-том. Понимаешь, лица совсем другие были. Вот и Петька из той породы. Воспитали, вывели ведь коммунисты породу та-кую, советскую. Как сумели на конных заводах перед войной буденовскую породу лошадей вывести, на них и в бой ходить, гадов-немцев рубать, и землю пахать. Прости за животновод-ческое сравнение, такие вот, как Пётр наш бежали на призыв-ные участки в сорок первом: возьмите в армию.

– Петрушу, конечно, жалко, если с ним что-то случилось, но это общее для мальчишек, вспомни рассказ Чехова, как маль-чишки бурам собирались помогать.

– Серёжа, ты меня не понимаешь. Ведь сейчас-то, не при-веди Господь, ежели, что стрясётся, так ведь в военкоматы-то не побегут, очереди у них не выстроятся. Будут дома сидеть и мечтать: может, не принесут повестку. А Пётр наш не тот, без повестки примчался. Где же он? Где же он? Такая голова.

Власть не преследовала скрывавшихся и, вообще, поста-ралась скорее притушить горячку вокруг Дома советов. Это могло привести к гражданской войне. Разгон Верховного со-вета вызвал в народе осуждение, что показали состоявшиеся вскоре провальные для власти выборы в Думу. Достаточно было малейшего инцидента, чтоб всё полыхнуло, а власти и их покровители за рубежом вовсе не были уверены в исходе гражданской войны. Могло так получиться, что всё, сделанное с 1991 года, на что потрачены миллиарды долларов, рухнет в пропасть, и на развалинах Союза возникнет подобно феник-су новая народная держава. Поэтому предпочли не рисковать, обойтись достигнутым.

Этим объясняется и поспешная амнистия. Впервые в ми-ровой истории амнистировали людей, выступивших в защиту Основного закона страны. Причины скорой амнистии таились



в том, что в связи с амнистией закрывалось уголовное дело, открытое по поводу октябрьских событий. В ходе расследования дела могли всплыть факты сотрудничества высшей власти с органами и разведками иностранных государств, которые участвовали как в подготовке октябрьских событий, так и в воплощении их в жизнь. Нужно будет говорить о таинственных снайперах, убивавших людей с крыш домов. Эту тему октябрьских событий замолчали, как и другие эпизоды: пляску хасидов и их призывы убивать православных.

Позднее, когда сняли покрывало секретности, скрывавшее всё, связанное с октябрьскими событиями, узналось, что, в численном отношении штурмующие превосходили защитников Дома (вернее, находившихся в нём) более чем в десять раз, после того как, штурмующие захватили Дом в своё полное распоряжение, он был разграблен. Сумма награбленного составляет сотни миллионов рублей. Тащили всё, компьютеры, принтеры, сканеры, телефоны, оргтехнику, столы, стулья, посуду, шторы с окон. Компьютеры и прочее можно списать на солдат, но зачем солдату письменный стол и где он его поставит в казарме. Кто-то хорошо поживился на грабеже.

Ельцин пожинал плоды своего безумия, объявив: глотайте суверенитета, сколько можете. Результатом стали две чеченские войны, в которых погибло и стало калеками много русских солдат и чеченцев, а П. Грачёв показал свою полнейшую бездарность, бросив в город Грозный танки. Ещё в 1945 году, в Берлинскую операцию советские генералы знали, что нельзя пускать танки в город без поддержки их пехотой. А ведь Грачёв окончил академию им. Фрунзе и академию Генштаба. Что он там изучал непонятно, но стал палачом с академическим образованием.

Ельцин показал свою полную неспособность руководить страной. Пока страна была независима и богата, руководить было легко, но, чтобы руководить страной, в которой стараниями Горбачёва была обрушена экономика, утрачены позиции за рубежом, а народ брошен на произвол судьбы, нужен



громадный государственный ум, воля, способность все свои силы отдать спасению народа и страны. Живший за ЦК, как за каменной стеной, где за него думали и решали, умом Ельцин никогда не блистал. А какая может быть воля, если человек не в состоянии жить без бутылки. Ельцин ушёл, чтобы не подвергнуться позору отставки. Ушёл человек, суливший стране и народу процветание и благоденствие, но не понимавший разницы между управлением областью и государством. Уровень популярности Ельцина был крайне, постыдно низок. Если бы он побыл ещё недолго у власти, его стали бы ненавидеть, как Горбачёва. Не дай Бог подвергнуться осуждению народа, которому не один год ты врал, кровь которого ты пролил.

В 1999 году Ельцин ушёл от руководства страной, но и после его ухода, когда многие вздохнули с облегчением, как начинает легче дышать человек, оправляющийся от тяжёлой, истощившей его болезни, страну продолжали преследовать одно несчастье за другим. Затонула подводная лодка «Курск».

В народе до сегодня живут слухи, что лодка утонула не сама, её утопили американцы. Народ особенно потрясло не то, что сама лодка затонула, а то, что на ней погибло более ста моряков. Моряки были живы, давали о себе знать, но все скончались в мучениях. Американцы ещё в 1939 году спасли 33 человека с затонувшей на глубине 73 метра подводной лодки «Сквалус». Прошло больше шестидесяти лет, спасательная техника усовершенствовалась, далеко шагнула вперёд, но с «Курска» не спасли ни одного человека..

Ельцин прожил тринадцать календарных лет после анафемы. Анафема не снимается со смертью проклятого, она вечна. Святейший Патриарх от участия в похоронах Ельцина устранился. Власть старалась придать похоронам характер народной скорби. Но искусственно скорбь не вызовешь. Конечно, не было в народе злорадства (дескать, помер Максим...), но и скорби не замечалось.

Словно в насмешку республиканской библиотек присвоили имя Ельцина, хотя он, шутили люди в читальном зале од-



ной из библиотек, если что и читал в своей жизни, так это этикетки на водочных бутылках.

В Екатеринбурге ему открыли памятник. Человеку, способствовавшему ограблению России, и памятник поставили не без воровства. Идея памятника: человек, преодолевающий сопротивление камня (видимо, под косным камнем подразумевается советская власть) украдена, в искусстве это именуется заимствованием) у выдающегося латышского скульптора К. Зале с надгробного памятника писателю А. Пумпуру²³.

В сумерках, когда таинственная мгла обволакивает предметы, иногда становится явной скрытая при дневном свете мистическая сущность предметов. Люди, побывавшие в уральском городе, говорят, что в эту пору дня очертания памятника становятся похожими на угловатую бутылку, штоф.

Безответственность в стране достигла предела. Трагедия «Норд-оста», взрывы жилых домов, утоплена ещё вполне работоспособная космическая станция «Мир», закрыты базы на Кубе и во Вьетнаме, не считаясь с Россией, были развязаны войны в Сербии, в Ираке, был подвергнут повешению Саддам Хусейн, растерзан Муамар Каддафи. Всё это сотрясало страну.

Внуков закончил свой роман и получил долю заслуженно причитающихся ему похвал в прессе. Ходили разговоры, что роман достоин выдвижения на Нобелевскую премию. Разговоры эти и ласкали, и раздражали Викторина Андреевича.

– Нужен мне этот Шнопель, – ворчал он, – я ещё недостаточно родину продал, чтоб мне дали его.

– Но Бунин и Шолохов лауреаты, – возражали ему.

– Это другое, я не их имел в виду.

Животов вышел на пенсию. Он надеялся, что при увольнении в отставку ему дадут генерала (в военной среде это именуется «получить прощального пинка под зад»), но надежды оказались тщетны. Кто-то где-то кому-то сказал, что от пол-

²³ Главное произведение К. Зале – ансамбль Братского кладбища в Риге, послужившее образцом для мемориальных комплексов во всём мире.



ковника Животова слышали неосторожные слова в 1993 году и внук у него пропал при невыясненных обстоятельствах, так что от генеральского звания лучше воздержаться.

Роман водит дочку в ясли, носит рассказы к Внукову. Маститый писатель наставляет его, говорит, что, если он будет относиться серьёзно к литературе, не как к забаве, к провождению времени, а как к работе, как к главному делу своей жизни, то из него может получиться интересный писатель.

Володин умер от сердечного приступа в 2001-м году. Жена вызвала «скорую помощь». Эдуард Фёдорович не потерял присутствия духа и в машине, когда она мчалась по московским улицам, находил силы шутить. До больницы его не довезли, он скончался в машине. Отпевали его в Сретенском монастыре.

Через пять лет безвременно скончался Сергей Лыкошин. Находясь в паломнической поездке во Святую землю, он оступился и повредил ногу. Обычная дорожная травма. Миллионы людей каждый день подворачивают ногу, поправляются и продолжают жить. Но Господь судил иначе. Сергей Артамонович разболелся и, оплакиваемый родными и друзьями, единомышленниками – писателями, отдал свою чистую душу Богу.

Ширков основал и стал издавать свою газету, потому что областная администрации прекратила финансирование молодёжной газеты, ссылаясь на нехватку средств, хотя это отговорка. Нашлись средства, чтоб на самолёте свозить за рубеж на зимние Олимпийские игры кучу бездельников-чиновников, потрачены миллионы народных денег.

Журналистка Вита работает в газете, пишет репортажи и жалеет, что пролетела тогда с Ширковым, надо было действовать напористой, наглей.

Владыка Михей, уволенный на покой, преподавал в Духовной академии латынь и пастырское богословие. На Тиховодскую кафедру решением Синода и Святейшего Патриарха кафедру определён молодой епископ, чадо преподобного Сергея, воспитанник Сергиевой Лавры.



Жизнь Шкурова закончилась трагически, он попал в автомобильную аварию, был раздавлен машиной.

Маков не потерялся и в изменившейся жизни. Предприимчивый, богатый на идеи и осуществление их, он руководит созданным им предприятием.

Скудомкин пристроился в аппарат сменившего Горова нового губернатора, жалеет о том, что продешевил, продав Родину всего лишь за пятнадцать банок сгущёнки, а в разговорах, касающихся 1993 года, без краски стыда утверждает, что всегда протестовал против этого пропойцы и авантюриста. Так он называет теперь Ельцина. В своём праведном гневе он не одинок. Многие, стоявшие в октябре 1993 года горой за Ельцина, могут составить ему компанию.

Полковник Шубкин продолжает служить в милиции. Добрая слава о нём, как о строгом, но человечном начальнике горотдела, который не позволил себе ни разу ударить ни одного задержанного, ширится в Тиховодске.

Бедный Вениамин обитает в доме инвалидов. Бывшие зеки, качавшие права, отступились от него после того, как он, доведённый их придирками и оскорблениями до белого каления, в припадке гнева поднял одного из них, сидевшего в коляске, вместе с коляской над своей головой и швырнул в лужу.

Милицейский майор уже подполковник. Начальство его ценит, ставит в пример, его фотография не сходит с доски почёта областного УВД, и он, говорят, готовит свои уши под полковничью папаху. Подпустив жалости в голос, он любит говорить, что никому в жизни не желал плохого, не сделал зла, он только выполнял приказы.

Секция исторического фехтования успешно работает. Мальчишки с мечами и щитами изучают и отрабатывают технику рубящих ударов, воображая себя древнерусскими витязями. По советам своего руководителя читают исторические романы.

Тиховодск по-прежнему уничтожается. Покончив с деревянной застройкой, городское руководство под лозунгом «Время не стоит на месте. Город должен развиваться», взя-



лись за каменные здания. Сломано здание XIX века возле водонапорной башни.

До сих пор в институтах права и экономики и прочих высших учебных заведениях события 1993 подаются студентам в лживой трактовке, правда о них извращается, становится с ног на голову. Учёные социологи в своих трудах пишут о феномене двойного сознания советских людей. Люди знали и видели одно, а говорили другое. Это же самое творится и сейчас. Доколе? Когда мы начнём говорить самим себе и другим правду?

В год двадцатилетия октябрьских событий в Москве состоялось большое шествие москвичей и приезжих из других городов, чтобы почтить память павших. Люди шли по широкому проспекту, развернув перед собою транспарант со словами Ольги Берггольц, написанных ещё во время войны: НЕ ЗАБУДЕМ, НЕ ПРОСТИМ!

Простить, может, и простим, отходчив русский народ. Простил же он безбожной власти убийство царя Николая Александровича с женой и невинными пятью детьми.

Но как забыть то, что с кровью запечатлелось в душе и памяти.

В тропарях мученикам поётся «Кровь твоя тайно вопиет от земли», а в Книге книг написано «Мне отмщение и Аз воздам». (Втор. 32.35)



Сон Романа

Роман после работы взял Сашу из детсада (сын ходил уже последний год, в подготовительную группу), погулял вечером с дочкой, позанимался над рукописью рассказа, спать лёг уже во втором часу ночи.

Ему приснился сначала страшный, а потом чудный сон. Будто бежит он в каком-то здании, бывшем здании совнархоза, в войну штабе зенитного батальона. За ним гонятся враги. Он бежит от них только оттого, что не бежать страшно, а так-то бежать ему некуда: куда из дома убежишь, всё равно схватят. Он мчится стрелой, как в юные, солдатские годы. Вихрем преодолевает лестничные марши, но враги не отстают. И вот всё – последний этаж, перед ним огромное полукруглое окно. Бежать некуда, если только прыгать в окно, а высота страшная. Но он бежит на окно, в последний миг поворачивается спиной, чтобы не изрезать осколками лицо, спиной вышибает стёкла, падает и видит растерянные и злобные лица врагов. В воздухе он переворачивается на грудь, летит, а под ним появляется одна радуга, другая. И вот внизу, мерцающая и переливаясь, текут радуги с их фиолетовыми, красными, оранжевыми, жёлтыми полосами. Постепенно они перемешиваются, переслаиваются, становятся клетчатыми и откуда-то издали, там, за радугами, встает огромное, огненное слово – РОССИЯ. С ликующей, с разрастающейся от этого ликования вширь душой, Роман понимает, что такой же, как эти радуги, будет будущая жизнь России.

В этот миг проснулась дочка Сонечка, заворочалась в кровати, забормотала. Нужно встать к ней.

Но Роман лежал на постели с открытыми глазами, вспоминая и снова радостно переживая растущие многоцветные полосы, образующие великое слово.



ОГЛАВЛЕНИЕ

ГОД ПЕРВЫЙ ПРЕОБРАЖЁННАЯ РОССИЯ
5

ГОД ВТОРОЙ ЖИЛИ-БЫЛИ
141

ГОД ТРЕТИЙ СМУТА
271

Эпилог
425

Сон Романа
438

Литературно-художественное издание

Роберт Александрович Балакшин

СТРАСТИ ПО ДОМУ

*Хроники
смутных времён*

Обложка оформлена по мотивам плаката А. Будаева

Дизайн, вёрстка Е. А. Черкашиной. Печать М. Ю. Романовой. Переплёт Е. Л. Волковой

Подписано в печать 08.12.2014. Формат 60х84/16. Тираж 200 экз.
Усл. печ. л. 7,44. Заказ 056. Бумага офсетная. Печать цифровая

ООО «Издательство «Сад-Огород», 160033, г. Вологда,
ул. Текстильщиков, 20-а, тел.: 8 (8172) 73-94-28, тел./факс 73-12-22